

Иван Иванович Лажечников

Внучка панцирного боярина



Иван Лажечников

Внучка панцирного боярина

«Public Domain»

1868

Лажечников И. И.

Внучка панцирного боярина / И. И. Лажечников — «Public Domain», 1868

«Был полдень одного из дней августа 1862 года. Летнее солнце, на прощанье с жителями Москвы, хотело порадовать их еще своими теплыми ласками. В это время ковылял в гору, по правую руку Кузнецкого моста, господин в светлом пальто английского суровья, просторно сидевшем на худощавом его теле. Ему казалось лет на шестьдесят, но, может быть, разные житейские невзгоды не поскупились накинуть несколько лишних лет на его наружность. Соломенная шляпа с широкими полями ограждала от лучей солнечных его бледное, добродушное лицо. В руке у него был небольшой узел, завязанный в фуляре...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	11
III	20
IV	29
V	40
VI	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53
Комментарии	

Иван Лажечников

Внучка панцирного боярина

Посвящается Ал. Ал. Леб...вой

Часть первая

I

Был полдень одного из дней августа 1862 года. Летнее солнце, на прощанье с жителями Москвы, хотело порадовать их еще своими теплыми ласками. В это время ковылял в гору, по правую руку Кузнецкого моста, господин в светлом пальто английского суровья, просторно сидевшем на худощавом его теле. Ему казалось лет на шестьдесят, но, может быть, разные житейские невзгоды не поскупились накинуть несколько лишних лет на его наружность. Соломенная шляпа с широкими полями ограждала от лучей солнечных его бледное, добродушное лицо. В руке у него был небольшой узел, завязанный в фуляре. Не занимали его любопытства выставленные в окнах магазинов роскошные вещицы, отчасти выписанные из-за границы, отчасти делаемые в России под именем иностранных. Продавцы их, тоже иноземцы, пользуясь пристрастием нашим ко всему заграничному и, может быть, справедливым недоверием к отечественным изделиям, берут с нас за свои товары по 50 процентов на сто. Иные, накопив на Руси богатые капиталы, уезжают восвояси, где в благодарность за наше простодушие бранят на весь свет дикообразную Московию, набившую их карманы своим золотом. Правда, есть благородные исключения. Между прочими справедливо сохранить память одного из них, Дебре, который, умирая в Париже, завещал похоронить его прах в Москве, где он нажил свое богатое состояние.

Остановился, однако же, старик против магазина Дациаро, всегда привлекавшего к своим окнам толпу прохожих – отдохнуть ли он хотел, или взглянуть на картины. Вероятно, он был близорук, потому что, уставив глаза в окно, прищурился и наложил ладонь на стекло окна, по которому переливались лучи солнечные. Вскоре подошел другой господин, молодой, и, став подле него, приступил к такому же созерцательному безделью. Хотя на нем было широкое летнее пальто, но в посадке его стана видно было, что он привык носить военный мундир и, вероятно, только что недавно скинул его.

– Ее уже нет, – сказал с грустью старик, качая головой.

– Кого? – спросил его попутчик, посмотрев на него с удивлением.

Старик был, видимо, из таких личностей, которые в минуты особенного настроения души готовы излить ее хоть незнакомцу. По природе ли, или исходивши жизнь под гнетом разных тяжких обстоятельств, или от старости, они склоняются к детству.

– Здесь, – отвечал он, поощряемый к откровенности светлым взглядом и добрым, приятным лицом своего спутника, – была раскрашенная английская гравюра-невеличка, но как много говорила она сердцу! На ней изображена была красивая молодая женщина. У полуобнаженной груди ее лежал младенец. Видно было, она только что откормила его. Ребенок засыпал и сквозь сладкий сон улыбался ангельской улыбкой. Если бы вы видели, как смотрела мать на свое дитя. Любовь и блаженство выражались в голубых глазах ее. Да, сударь, блаженство – это чувство от неба; счастье называю я наслаждением земным.

– Жаль, что я не видел этой картинки, – сказал молодой человек, вглядываясь в старика и занятый более его личностью, чем разговором о картинке.

– Очень жаль, вы потеряли несколько минут самого чистого душевного удовольствия. Однако же, когда я бывал здесь, она мало занимала смотревших на здешнюю выставку. Я был, по-видимому, один, кого она приковывала к себе.

– Ныне ведь нужны предметы более пикантные, раздражающие чувства.

– Так, так. Вот, например, перед нами обнаженные, купающиеся женщины; их сторожит из-за засады деревьев воспламененный взгляд юноши, заметьте – юноши. Он, кажется, хотел бы превратиться в волну, которая скатывается по их прекрасным формам.

– У нас ныне, – заметил молодой человек, – не только юношей, но и детей нет.

– А вот эта, налево, ради возбуждения каких страстей? Бандиты со звериными лицами потрошат какого-то путешественника, под ним лужа крови. Далее убийца с топором в руке, с которого капает кровь его жертвы.

– Правда в искусстве – вот лозунг, который задали себе наши писатели и живописцы.

– Прекрасно, но они забывают, что их обязывает другая правда – художественная. Это напоминает мне Каратыгина в драме «Игрок». Он отвратительно намазывал себе руку красной краской, чтобы показать, что на ней кровь – следы совершенного им убийства. Между тем для возбуждения в зрителе чувства ужаса, и без видимых знаков довольно было одних слов артиста, что на руке его кровь. Впрочем, извините болтовню старика, вам незнакома. Может статься, по-вашему, по-нынешнему, я ошибаюсь, и вам неприятно слушать то, что противно вашим взглядам.

– Напротив, – сказал молодой человек, – хоть ныне только те quasi-убеждения хороши, о которых кричат наши так называемые *дети*, я слушал вас с большим участием. К тому же, когда я всматривался в вас более и более, меня подмывало сделать вам один вопрос. Он не покажется вам странным, если вы узнаете причину его. Не вспомните ли вы меня? Мое имя Сурмин...

Старик стал пристально всматриваться в лицо своего импровизованного собеседника, бесцеремонно повернув его к свету обеими руками за плечи.

– Хоть убейте, – отвечал он, – ни вашего имени, ни вас не припомню.

– Не мудрено: вы видели меня только один раз. Я был тогда еще очень молодой человек, лет двадцати, только что выпорхнул из гнезда гвардейских юнкеров и оперился в мундире кавалергардского полка. С того времени прошло десять лет. Теперь, я сделался кампаньяром и, как видите, отпустил уже бородку. Служили вы в Приречье вторым лицом по губернской иерархии?

– Точно так.

– Вас зовут Михаил Аполлоныч Ранеев.

– Это имя мое.

– Вот видите, как я вас помню, или, лучше сказать, помнит вас мое сердце. Но я не желаю, чтобы посторонние, останавливающиеся здесь, слышали наш разговор. Вы, кажется, шли в гору Кузнецкого моста?

– Да, я шел к оптику Швабе купить себе зрение. Без очков, которые, к горю моему, по старческой рассеянности затерял, все предметы в природе представляются мне в каком-то недоделанном виде или как будто задернуты флером.

– Мы словно сговорились; кстати, и я иду туда же купить себе барометр. Если вы мне позволите, мы продолжим наш разговор, которым я напому вам наше часовое знакомство, оставившее глубокие следы в благодарной памяти всего нашего семейства.

– С большим удовольствием.

Они пошли в гору; молодой человек укорачивал шаги, чтобы не утомить своего спутника. Дорогой повели они беседу, как давнишние приятели.

– У матери моей, – начал молодой человек, – было дело, от которого зависела участь всего нашего семейства: ее, меня и двух малолетних сестер моих. За долги частные и процент-

ные в Опекунский Совет, запущенные нашим опекуном, 500-душное имение наше было под запрещением. Вы знаете, что такое наши опеки?

– Слишком хорошо. Я читал отчет одного опекуна над сумасшедшим: был очень богатый барин. В этом отчете, поверите ли, записана была покупка собольего одеяла в шесть тысяч рублей. Я видел, как у малолетних на ремонт дома истрачивались все доходы с имения. Придя в совершенные года, они, разумеется, оставались нищими. Я слышал, как заводские тысячные лошади продавались полячком-опекуном под покровом воеводы по 50 рублей. Да всех проделок опекунов не перечесть.

Старик энергически махнул рукой.

– Подобными проделками нашего опекуна, – имя его утаю (скажу только – он даже очень близкий нам родственник), – и наши дела были доведены до того, что Совет назначил наше имение в продажу с аукциона. По просьбе матери, опекун был сменен и она утверждена опекуншей и попечительницей. Что можно было продать из движимого имущества: серебро, бриллианты и разные разности, все ей было продано, добрые люди помогли, частные долги заплачены, сумма в Опекунский Совет собрана. Мы с матерью отправились в Москву, но, чтобы остановить продажу имения, надо было заехать в Приречье. Здесь мы должны были получить из гражданской палаты свидетельство, что оно освободилось от запрещения по частным долгам и казенным повинностям. Наш местный уездный суд уведомил о том все приреченские места, кому надлежало знать. На спрос гражданской палаты эти места, кроме губернского правления, отвечали удовлетворительно. Обращаюсь в правление, показываю номер и число, за которыми послан рапорт суда. Столоначальник отзывается, что рапорта не получено. «Не может быть, – говорю я, – он отправлен с неделю, все другие места получили». – Нам до других мест дела нет, мы не получали, – с сердцем отвечал столоначальник. По молодости лет и неопытности моей, я думал, что если предложу *благодарность*, так навлеку на себя страшные последствия.

– Хе, хе, хе, видно, молодо-зелено было.

– Так и мерещилось мне дуло пистолета, уставленное в грудь мою. Обращаюсь к советнику, тот же решительный ответ. Обстоятельства были для нас критические; через два дня роковой молоток (я воображал молоток при всяком аукционе) должен был ударить и лишить нас состояния. На него охотники, в том числе и наш бывший опекун, точили уж зубы, заговор между ними был устроен, *слазы* определены.

– Ох, эти слазы! иной раз у иного начальника при продаже имения сердце болит, что оно продается за бесценок, а против этого ничего не поделаешь.

– Моя мать в отчаянии. Наши приреченские приятели указывают нам на вас, как на единственного человека, который может спасти нас от беды. Лечу к вам, – мне говорят, вы нездоровы, никого не принимаете. Горячо настаиваю у вашего слуги, чтобы он доложил обо мне, говорю: «дело экстренное», – он неумолим. Молодость и отчаяние кипятили мою кровь, я сделался дерзок, возвышаю голос, готов браниться. Вы услышали наши крупные переговоры, вышли ко мне, извиняетесь, что в шлафроке, спрашиваете, «в чем дело». Объясняю его. Вы выслушиваете меня внимательно, между тем как у вас лицо подергивало от негодования.

– Ого! как вы помните все подробности!

– Немудрено, это были роковые минуты, они не забываются. «Негодяи!» – вырвалось у вас от гнева, и тотчас, несмотря на свое нездоровье, приказываете подать себе одеться, едете со мной в правление на моем калибере, какой мне второпях попался. Здесь, по грозному требованию вашему, рапорт суда отыскан под сукном и в ту же минуту при вас сделано по нем распоряжение. Досталось же от вас порядком столоначальнику, не обошли вы своим замечанием и советника. Мать получает свидетельство из гражданской палаты, скачем с нею в Москву и спасаем имение от продажи. Опоздай один день, – и мы были бы разорены. С легкой руки вашей дела наши пошли в гору, мы живем теперь в полном довольстве и благословляем ваше имя, как нашего благодетеля.

– Очень рад, – сказал Ранеев, видимо просиявший от удовольствия, – очень рад, – повторил он, пожимая руку своего спутника, – что мог, исполняя свой долг, сделать что-нибудь в пользу вашу. Вот видите, как легко человеку, у которого есть какая-нибудь власть, располагать участью людей на добро и зло. Не перечтешь несчастий от сущей безделицы, от того, что иной с высоты своей поленился выслушать внимательно просителя, другой пугнул его в пароксизме воеводского нетерпения. А самоуправство, апатия, продажность... – вот что губит нас.

– Кажется, благодаря духу времени, взяточничество выводится. Поговаривают, что составляются проекты новых судов с гласностью в помощь им. Надо надеяться, что молодые поколения не ударят лицом в грязь.

– Вот это дело другое. Гласность, гласность! великое слово, если оно вместе с тем и дело. Пусть явится во всеоружии истины, хотя бы с грозой, но только не театральной, не с фальшфейером. Не ласкать зло надо, а сокрушать его.

В голосе Ранеева слышалось какое-то ожесточение; забывшись, он говорил громко и потрясал рукой, так что прохожие смотрели на него как на чудака.

– Дай Бог, чтобы скорее состоялись эти суды. Авось либо свежие струи с новыми, честными силами втекут на них, – продолжал он. – Допусти и меня, Боже, дожидаться хоть зари этого дня. О тогда, если не задуют этой гласности в ее зародыше те, кому она по грехам их не понравится, я опишу историю одного события в моей жизни на поучение следователям и судьям. Да, друг мой, есть в ней чудеса, которые и не снились нашим мудрецам-обличителям. Сильно боролся я с людской злобой и коварством (только глупая овца лижет руку, которая ведет ее на заклание) и все-таки изнемог в борьбе. Но я, думаю, наскучил вам своими стариковскими иеремиадами. Что ж делать, это мой конек, с которого сойду только на пороге гроба. К тому ж я с первого раза полюбил вас, и потому так с вами откровенен. Кстати, вот и магазин Швабе.

Вошли в магазин. Старика, видно, знали там хорошо. Он протянул хозяину руку, хозяин радостно пожал ее и, приветствуя его с добрым утром, называл превосходительством. Ранеев отозвал его в сторону и стал переговаривать с ним вполголоса. Он не стыдился своей бедности, но и не любил пародировать ей, а предмет его разговора с оптиком казался ему щекотливым при постороннем свидетеле. Дело в том, что он принес в узле спорки богатого шитья с мундира, в котором не имел более надобности, темляки, шарф, и просил тотчас сжечь их, свесить выжигу и променять на очки. Между тем Сурмин старался не слышать их переговоров и занялся с приказчиком осмотром барометров. Порядочный ком выжиги был скоро принесен и свешен. Хозяин магазина предложил старику выбрать себе очки по глазам. Ранеев сказал номер, который он обыкновенно употреблял, золотые очки были выбраны, испробованы на разных предметах и прилипли совершенно по глазам.

– Как же расчет? – спросил он.

– Ваши вещи стоят 20 рублей, наши 15, вам следует получить с нас 5 рублей.

– Браво! – воскликнул торжествующим голосом старик, забыв свою прежнюю осторожность, – в *рядах* дали бы половину. Вот я и с глазами, – прибавил он, поводя еще очками по разным предметам в магазине, как будто прозревал после счастливой операции над его глазами.

Ранеев и новый его знакомый вышли из магазина. Каждый нес свою покупку, один – оседлав ею свой нос, другой – спрятав ее в карман своего пальто. Сойдя с наружной лестницы на тротуар, Ранеев остановился. Сначала всматривался он в надписи на вывесках, потом переносил глазами на лица проходящих, испытывая на них свои очки, отчего живые предметы его бесцеремонного созерцания встречали его пристальные взгляды или усмешкой, или сердитой миной. Особенно чопорные, наштукатуренные барыни вооружались против него негодованием, презрительно надув губки или отворачиваясь от старика-нахала. С своей стороны, он не только равнодушно принимал эти заявления, как будто они его не касались, но даже улыбался детской улыбкой. Ему казалось, что внезапно выступил перед ним из сумерек новый

мир, впрыснутый яркими лучами солнца. Видно было, что удовольствие от удачной покупки, подкрепляемое добротой сердца, не давало в нем места другому чувству. Но лишь только он и Сурмин простились, обещаясь видаться, и сделали не более пяти шагов друг от друга, первый, под гору Кузнецкого Моста, второй, по направлению к Лубянке, как молодой человек услышал позади себя крик:

– Он, он, Киноваров, вор, грабитель!

Сурмин оборотился и увидел, что какой-то прохожий, немолодых лет, с седоватой бородкой, в поярковой шляпе с широкими полями, из-под которой упали стриженные в кружок волосы под масть бороде, в русском кафтане со сборами, – рвался из рук Ранеева, вцепившегося в рукав его кафтана. В крике Михаила Аполлоновича было что-то дикое, отчаянное, словно он стоял под ножом разбойника и призывал прохожих на помощь. Он хотел еще что-то закричать, но слова задохлись в его груди. Борьба была недолгая, прохожий вырвался из слабых рук старика, успел вскочить на лихача, мимо шагом проезжавшего, и скрылся из виду, окутанный клубами пыли, закудившейся в последний раз на повороте к Трубному бульвару. Ранеев пошатнулся и упал без чувств головой на тумбу. Все это как молния промелькнуло в глазах Сурмина, но шафранное лицо прохожего, кошачий взгляд серо-желтых глаз его – врезались в памяти молодого человека. Пока он суетился около своего нового знакомца и звал городского, давно образовался кружок любопытных, в это время мимо проходивших. Прибежал городской и, расспросив слегка о том, что случилось, старался поднять упавшего, между тем выкликал извозчика, чтоб отвезти его в часть. Старик лежал у тумбы, кровь текла из раны над бровью, очки, которые так радовали его, лежали разбитые на тротуаре. Какой-то подозрительный человек, вроде тех личностей, которые при всякой суматохе и сборище людей вырастают из земли, – уже поднял золотую оправу и заносил с ней руку под полу рыжеватой, засаленной фризовой шинели. Сурмин успел это заметить и вырвать оправу у жулика.

– Это генерал, – сказал он городскому, переводя для изящного эффекта статский чин на военный, – отнесем его в знакомый мне и ему магазин.

Только что они приподняли Ранеева, как от Швабе, видевшего из окна несчастный случай, прибежали посланные им рабочие и помогли отнести его в магазин. Здесь его положили на диван и, с помощью примочек и спиртов, успели привести в чувство. Рана была легкая, но могла быть смертельна, если б он ударился о тумбу полувершком ближе к виску. Кровь из нее уняли компрессом из арники. Отдохнув немного, он осмотрелся, перекрестился, пожал руку Сурмину и попросил оптика приказать достать ему извозчика, сказав улицу своей квартиры. Сурмин решительно объявил, что не отпустит его одного и сам доставит домой. Старику оставалось только поблагодарить за дружеское одолжение.

– Я чувствую себя хорошо, – сказал он, – но если б мне пришлось худо, так лучше умереть при дочери.

Нанятая пролетка стояла уж у крыльца. Ранееву обвязали голову платком со свежими компрессами. Собираясь выходить, он вспомнил о своих очках, ему поданы были новые, в футляре. О том, что купленные им прежде разбились, никто не промолвил ни слова. Когда он сходил с крыльца, городской приложил руку к козырьку своего кепи и спросил его превосходительство, не украдено ли чего у него, так как он гнался за вором.

– Ничего, голубчик, – отвечал Ранеев, немного смутившись, – благодарю, ни на ком не взыскиваю, ничего не ищу, не доводи об этом до начальства.

Украдкой он сунул ему в руку серебряную монету, какая у него случилась.

Сели на извозчика, приказано было ехать не шибко. Дорогой старик, оправясь, первый заговорил со своим спутником:

– Многие, после происшествия со мной, почли меня за сумасшедшего, – сказал он, – но если б знали, кто был человек, которого я хотел схватить, если б знали его отношения ко мне, так оправдали бы мое бешеное нападение на него. Да, друг мой, – прибавил он по-французски,

чтобы извозчик не понял его, – это величайший враг мой, он обокрал казну, обокрал меня, разрушил счастье мое, счастье моего семейства, убил жену мою...

– Почему же бы вам, – заметил Сурмин, не понимая странного, загадочного рассказа старика, – не отыскать преступника через полицию? ведь вам имя его и звание известны.

– Через полицию! знаете ли, что он коллежский советник и кавалер, считается умершим в тюрьме, похоронен... Вероятно, он скрывается под чужим именем и фальшивым паспортом, и после встречи со мной не останется ни одного часа в Москве. Что ж, если бы его нашли и задержали, прошлого не воротишь, решенного не перерешишь. Только одним бы несчастным было больше на свете. Я так, сгоряча, не раздумав хорошо, погнался было за ним. Но это длинная, несчастная история; когда-нибудь расскажу вам ее; Бог даст, ближе познакомимся. Сколько лет не видал я этого злодея, – продолжал он немного погодя, – с лишком пятнадцать лет. Пятнадцать лет угрызения совести, страх попасть опять в тюрьму, из которой бежал, и оттуда поплестись в Сибирь, – хоть какого молодца переделают. Я и не преступник, да несчастья сделали из меня в 57 лет, как видите, ходячую мумию. Он состарился, поседел, надел какой-то маскарадный костюм, однако ж, я его узнал, – узнал, как будто вчера только видел. Не мудрено: он не раз пробуждал меня от крепкого сна, его желтые, с крапинами косые глаза блуждали по мне в ночном мраке, он и днем меня преследовал, его образ придет смущать последние мои часы. Но вот мы подъезжаем к моей квартире. Ради Бога, не говорите ничего дочери о сегодняшнем происшествии. Я скажу, что, выходя от Швабе, оступился и, упавши, ушибся. Кажется, рана моя не велика. Я сниму теперь повязку, на ней, вероятно, выступила кровь.

Действительно, на повязке были мелкие пятна запекшейся крови. Он снял ее и спрятал в карман. Сурмин осмотрел ушиб и успокоил его, сказав, что рана едва заметна. Старик надел очки, чтобы, как он думал, совсем скрыть ее.

Остановились у скромного домика в пять окон на улице, против Нижнего Пресненского пруда.

II

Зоркий глаз дочери сторожил отца из окна. Старик только что хотел позвонить у наружной двери, как она отворилась, и прекрасная, стройная девушка бросилась ему на грудь, целовала руки, расточала ему самые нежные ласки, самые нежные имена. Он платил ей такими же нежными, горячими изъяснениями любви. Казалось, они свиделись после долгой разлуки.

Сурмин, в полусумраке сеней, смотря на очаровательную девушку, остолбенел, как будто она ослепила его лучами своей красоты.

– Что ты так долго был? – сказала она отцу, – я думала, не дождусь тебя.

– Извини, дружок, случай, встретил неожиданно старинного приятеля, Андрея Ивановича Сурмина, заболтался с ним. Рекомендую его. Это моя дочь, Лиза, – прибавил он, указывая на молодую девушку.

Ранеева, которая до сих пор никого не видала, кроме отца своего, вся поглощенная любовью к нему, прищурилась, потом окинула молнией своих глаз молодого, красивого незнакомца и, слегка зарумянившись, глубоко присела перед ним, как приседают институтки перед своей начальницей.

Они вошли через переднюю в большую комнату, служившую, по-видимому, старику кабинетом, гостиной и спальней. Здесь, в комнате, при большем свете, нежели в сенях, Сурмин мог лучше рассмотреть стройный, несколько величественный стан Лизы, тонкие, правильные черты ее бело-матового лица, оттененного своеобразной прической волос, черных как вороново крыло, и ее глубокие, вдумчивые черные глаза. Все в комнате было хотя небогато, но так чисто, так со вкусом прибрано, что вы с первого взгляда угадывали, что женская заботливая рука проходила по всем предметам, в ней расположенным; все в ней глядело приветливо, кроме портрета какого-то рыцаря с суровым лицом, висевшего, как бы в изгнании, над шкафом в тени.

Сделалась аксиомой пословица: «скажи, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты таков». – Не менее верно замечание: введи меня запросто, по-приятельски в свое жилище, и я загляну в твою душу, расскажу твой образ жизни, твои наклонности. Так и здесь: Сурмин, оглядев комнату, мог дополнить характеристику хозяина, мысленно еще только очерченную в первый час знакомства с ним.

Стол, покрытый черной клеенкой, придвинут к окну; на нем скромный письменный прибор и артистический пресс-папье из матовой бронзы: это была группа Лаокоона и детей его, обвитых Змеем-Роком, который душит их и с которым отец, напрягши мышцы, борется до последнего издыхания. Тут же вазочка, настоящий *vieux Saxe*.¹ Так и срывает с ваших уст улыбку шаловливый рой пригожих, полунагих детей, на ней изящно написанных. В вазочке свежий букет скромных садовых и полевых цветов, со вкусом и гармонически подобранный. Перед столом глубокое, мягкое кресло, на котором зеленый сафьян уже от времени поружел. Из окна через стол лоснится зеркало Пресненского пруда, оправленное в раму бархатного газона и разнообразной зелени деревьев. На ближайшем берегу к маститому, мускулистому вязу привязана красивая лодка с разноцветным флагом, который от ветерка-то лениво потягивается, то бьется о мачту словно крылом. За Горбатым мостом видны извилины Москвы-реки. На левом от зрителя берегу ее нагромождены плоты и груды леса, на правом из густой кучи деревьев выглядывает богатая усадьба какого-то купца. Далее, проведя глазом прямую черту по разрезу реки – Воробьевы горы, дача графа Мамонова, Александрийский дворец; еще далее, сквозь туман поднявшейся над Москвой пыльной атмосферы видны едва очерченные крыши

¹ *Vieux saxe* – старый сакс (о саксонском фарфоре XVIII в.) или майссенский фарфор. Название произошло от саксонского города Майсен, где впервые в Европе стал производиться фарфор.

деревеньки и небольшие купы рощ; так и хочется перенестись в них из душного города. Здесь стук, шум, тревога; здесь дышешь тлетворными миазмами, а там должно быть тихо, прохладно, груди так легко впивать в себя струи чистого воздуха. Правее, за Даргомиловской заставой, широкой лентой убегает в сизую даль так называемая шоссе́нная смоленская дорога. При взгляде на нее, из глубины души вашей встают великие воспоминания. К одной стене комнаты прижался большой мягкий диван. У локотника его лежит канвовая подушка, на которую брошен пышный букет, резко выдающийся свежестью своих красок на ветхой коже дивана. Хочется обонять эти цветы, ждешь, что вот слетит с них пчела и зажужжит по комнате, – так художественно выполнены шерстью цветы и пчелка. Повыше дивана, в гравюрах, портреты Петра I, Екатерины II, Вашингтона, Франклина, Вальтер Скотта, Шиллера и доктора Гааза. На противоположной стене живописный портрет офицера средних лет, в семеновском мундире александровских времен. Рядом акварельный портрет молодой красивой женщины, обвитый венком из иммортелей, другой, фотографический, более молодой женщины, к которой можно тотчас признать дочь хозяина, и третий, такой же, юноши в юнкерском пехотном мундире. Все, что любит старик, что дорого его сердцу, собрал он вокруг себя. В одном углу – кровать, на железные изогнутые столбики ее накинута снежной белизны чехол из марли, обшитый домашними кружевами. Сквозь сетку его не проникнуть ни докучливой мушке, ни трубачу-комару. Такие походные железные кровати с чехлом разбивают английские офицеры и путешественники в знойных странах, не боясь ни mosquitos, ни тарантулов. Близ кровати небольшой образ без оклада Божьей Матери с Предвечным Младенцем и порхающими над ними ангелами, писанный художнической кистью. Над шкафом, как я сказал, будто в изгнании, живописный, средней руки, портрет какого-то рыцаря с гордой осанкой, в панцире. Резкие, суровые черты его, черные, большие усы, глаза, пронизывающие вас насквозь, так и выступают из полотна. Можно бы пугать им детей; в душе взрослого он возбуждал неприятное чувство. В соседней комнате голосисто разливается канарейка, над потолком воркуют голуби. Когда они слишком заговаривались и мешали хозяину и гостю слушать друг друга, Ранеев замечал:

«Не взыщите, сами поселились на чердаке, вольная колония! Пускай себе живут, благо им хорошо, а нам теснее не будет».

А если они уж слишком посягали на терпение его, то ему стоило только постучать в потолок тростью, чтобы они замолкли, точно понимали его. В семью мебели разве еще включить членов-челядинцев: маленький диван, обитый скромным ситцем, перед ним овальный орехового дерева столик, да четыре, пять стульев. Все это успел быстро занести в свои соображения Сурмин, усаженный на почетное место дивана.

– Да у тебя новые очки, – сказала Лиза, – поздравляю тебя с покупкой, ты был без них как без глаз. Дай-ка, попробую их на себе. Ведь я тоже близорука, настоящая папашина дочка, – прибавила она, обращаясь к Сурмину, сняла с отца очки, надела на свой греческий носик и кокетливо провела ими по разным предметам в комнате, не минуя и гостя.

– Дитя, – подумал было Сурмин, смотря на ее шаловливые движения.

– Совершенно по глазам моим, – сказала она, – папаша позволит, так я и сама начну носить очки и заговорю с кафедрами.

– Ну, на это бабушка надвое говорит, – возразил Ранеев.

Возвращая очки отцу, она заметила у него знак раны над бровью.

– Ты где-нибудь поранил себя? – спросила она в испуге. – Говори, что с тобой случилось, не то допрошу monsieur Сурмина; надеюсь, на первый день нашего знакомства он не решится покривить передо мной душой.

– Боже сохрани, – сказал молодой человек, – когда-нибудь провиниться перед вами в таком тяжком проступке; да я думаю, и сам Михаил Аполлоныч признается, что он, сходя от Швабе, оступился и, упавши, ушибся о ступеньку. Можете судить, как рана была легка по следам, которые она оставила.

– Могла бы иметь более опасные последствия, если б не этот милый человек. Он поднял меня вовремя, отвел в магазин, где мне тотчас приложили примочку, и был так добр, так обязателен, что не хотел отпустить меня одного домой. Родной сын не мог бы для меня больше сделать.

Ранеев с первого раза полюбил Сурмина и, рассыпаясь в благодарностях ему, видимо старался увеличить его одолжение и тем задобрить свою дочь в его пользу.

Лиза, веря и не веря показаниям молодого человека, в раздумье покачала головой, потом, протянув ему руку, наградила его таким взглядом, за который он готов был для нее в огонь и в воду.

– Вот негодный папашка и наказан за то, что не взял меня с собой. Ведь он у меня такой рассеянный, без меня, того и гляди, напроказничает, как дитя. Нет, говорит, время прекрасное, обещал только пройтись по дорожкам Пресненского сада, а очутился Бог знает где.

– Хотел сделать тебе сюрприз очками.

– Сдалась я, между тем сердце предвещало мне что-то недоброе. Няня сказывала мне, что он и молодой был рассеян, да тогда глядел за ним глаз позорче моего, водила его рука понадежнее моей.

– Ее давно уж нет, – сказал грустным голосом старик, и слезы навернулись на глазах его. – Кабы вы знали, какая это была женщина! Но такие создания, видно, нужны там, на небе. Посмотрите-ка на этот портрет (он указал на портрет молодой, красивой женщины). Это портрет моей покойной жены. Какой благодатью дышет ее лицо, какие лучи ангельской доброты льются из глаз ее! Святая женщина! Выродок из польской семьи!

– Скажите лучше, папаша, из белорусской.

– Ну, недалеко ушли друг от друга, – перебил старик, махнув рукой.

– Не имею нужды угадывать, чей портрет подле портрета вашей супруги, – оригинал здесь на лицо, – сказал Сурмин, желая отвести старика от разговора о национальности, который, как он догадывался, мог быть неприятен Лизе по фамильным отношениям, слегка высказанным отцом и дочерью. – Я сам немного живописец и хотел бы разобрать художнически, подробно, в чем верно выполнен артистом – солнцем, в чем не удался по милости фотографа, но боюсь, чтобы не почли меня льстецом. Вижу Лизавету Михайловну в первый раз и, не знаю почему, догадываюсь, что она не может любить лести.

– Вы угадали. Скорее готова выслушать горькую даже неприятную истину, нежели лести: я всегда подозреваю в ней какое-то двоедушие. Предупреждаю вас, я люблю противоречие, люблю и тех, кто со мною спорит. В жизни, в природе все спор. Что ж за победа без борьбы!

– Послушать ее, – промолвил Ранеев, – уж такая спорщица, что Боже упаси!

«Ох! это не дитя, – подумал Сурмин, – не знаю еще, что ты в самом деле такое, знаю только, что искусительно-хороша и должна быть не глупа. погоди, испытаю, крепки ли латы твоего самолюбия».

– Кстати, я и сам большой спорщик; постараюсь при первом же случае угодить вам, – сказал он. – Теперь позвольте спросить, кто этот юноша в юнкерском мундире?

– Это сын мой, – отвечал Ранеев. – Не правда ли, он похож на мать свою. Тот же прекрасный очерк лица, такой же блондин, с такими же ясными, голубыми глазами.

– Как две капли воды похож, – заметил молодой человек, – только у него в глазах больше энергии, больше мужественной силы, у нее больше душевной мягкости, удел слабого пола. Правда, у большей части кровных русских женщин характер ярче выражается: какая-то апатичность, полное расслабление, сонливость души.

Старик, угадав желание Сурмина поспорить во что бы ни стало, лукаво улыбнулся и одобритительно кивнул ему, как будто подстрекая его на состязание с дочерью.

– Апатичность? полное расслабление, сонливость души? бедная русская женщина, – с жаром перебила Лиза, и брови ее гневно сдвинулись, но она сейчас превозмогла себя и про-

должала ровным голосом. – Кто ж старался сделать ее такой? Не вы ли сами? Сначала вы наших пробабушек держали в заключении в теремах, потом сняли с нас кокошники и сарафаны, напудрили нас, одели в роброны, выпустили как марионеток в асамблеи; выучили попугайствовать на французском языке. И теперь воспитывают нас только для выставки. Но при всем этом пусть Провидение задает русской женщине высокую, благородную цель – неужели вы думаете, она не сумеет самоотверженно выполнить эту задачу.

Энергическая выходка Лизы дала повод к оживленному, горячему разговору о русских женщинах. Сурмин перебрал их по разрядам. Более всех досталось от него московским *барышням*, которых тип будто бы принадлежит особенно Белокаменной. Казалось, он, по каким-нибудь особенным причинам, был ожесточен против них.

– Вся жизнь их, – говорил он, – проходит в кружении головы и сердца, в стрекозливом прыгании. Весь разговор их заключается в каком-то щебетанье, в болтовне о модных тряпках, о гуляньях и балах. Живу я несколько месяцев в Москве, живал в ней и прежде, и должен признаться, ныне в первый раз слышу от русской светской девушки твердую, одушевленную, увлекающую речь.

– Напомню вам наше условие не льстить мне, – оговорила Лиза.

– Простите, невольно сорвалось с сердца и языка.

– Дальше вашу филиппику.

– Они считают за стыд говорить на родном языке. У какого народа кроме *российского* это бывает?

– Зачем же сваливать этот грех на одних, так называемых вами, московских барышень? Кто пример подает? Не Петербург ли? Не тамошние ли девицы и дамы, особенно высшего полета? Не забудьте, *c'est du nord que nous vient la lumière*².

– С этой *lumière* много и чаду разнеслось. Впрочем, вы правы: попугайство, о котором говорим, принадлежит вообще русским светским женщинам в Петербурге, в Москве, в провинции.

– Да разве и наш брат не повинен в этом грехе? – вмешал тут свою речь Ранеев, – я с Лизой был на днях на одной художественной выставке. Тут же был и русский князь, окруженный подчиненными ему сателлитами. Вообразите, во все время, как мы за ним следили, он не проронил ни одного русского слова и даже, увлекаясь галломанией, обращался по-французски к одному художнику, который ни слова не понимал на этом языке. Продолжайте же ваш список.

– Кстати, включая в него и таких, которые, побывав на чужбине, возвращаются из нее на родину, как на чужбину. Ездят в чужие края англичанки, шведки и *tutti quanti*, но везде, где бы они ни были, остаются англичанками, шведками и прочими, возвращаются такими в свое отечество. Одни русские дамы стыдятся быть русскими, разве захотят пощеголять перед иностранцами своим широким, безумным мотовством.

– К сожалению, правда, – сказала Лиза.

– Куда же тут до подвигов!

– Кончили вы, злой человек?

– Можно бы продлить список, да он и без того длинен. Вы видите, я положил на свои портреты черной краски, не жалея их.

– Да, порядочно погуляли вы на счет русских женщин. Позвольте, однако ж, вам сказать: вы судите об них верхоглядно. Проникните в тайники семейств и, конечно, найдете высокие, энергические личности. Жалко очень, что вы их не встречали. Не пария же мы в семье народов.

– Желал бы очень встретить такую личность.

² *C'est du nord que nous vient la lumière* – ссылка на слова Вольтера из стихотворного «Послания» Екатерине II (в переводе И. Богдановича: «От Севера днесь свет лиется во Вселенну»)

– Из близких мне я могла бы указать вам на одну, если бы она была в Москве. Ты догадешься, папаша, о ком я говорю.

– Конечно, о Зарницыной, – отозвался Ранеев. – Немного с экзальтацией; да, признаться, это наш фамильный грех.

– Дай Бог нам побольше благородного увлечения, в нем то мы и нуждаемся, – заметил Сурмин.

– Надо сказать, – продолжал старик, – Зарницына по силе характера, по патриотизму – феномен между женщинами. Да и то замечу: Господь одарив ее душевной энергией, наградил ее и телесной. Встает она в шесть часов утра, то она на коне, то пешая, в лесу, в слякоти, в жаре, везде, где, нужны ее глаза, ее заботы. Ездить верхом, как амазонка, при мне в 30 шагах из пистолета пулей срезала воробья с георгина. А какая бесстрашная! Кажется, пошла бы на медведя, если бы ей попался на глаза. Впрочем, эта необыкновенная женщина должна быть исключена из примера.

– Извините, я не поклонник таких марциальных женщин. Думаю, и чувства ее должны быть жесткие, суровые.

– Напротив, – сказала Лиза, – я не знаю женщины, более нежной в своих привязанностях. Как она ухаживает за больными в своем околке, помогает бедным, горячо любит мужа, любит детей, хотя сама не имеет их.

– Лиза ничего не преувеличивает, а могла бы быть пристрастна. Она осталась на восьмом году после смерти матери и десяти перешла на попечение дамы, о которой говорим. Зарницына теперь далеко. Кончив свои занятия по сельскому хозяйству, она поехала к мужу в одну из белорусских губерний, где он командует полком. А не то я познакомил бы вас с ней.

– Желал бы увидеть эту диковинную женщину. Впрочем, как вы сказали, она должна быть выключена из примера.

Разговор обратился на воспитание женщин, на русскую литературу. Лиза тут высказала много наблюдательного ума, много верных взглядов.

– Чтобы кончить наш спор, – сказал Ранеев, – как медиатор ваш, позволю себе порешить его так: вы оба вложили в него большую долю правды. Но чтобы толковать основательно о нашем обществе, о воспитании женщин, мало простого разговора, надо написать целый том. Да и пишут об них целые трактаты. Добрый знак. Покуда дела от них только коммуну да стриженные в кружок волосы; Бог даст примемся и за разумное воспитание, как его понимает здоровая англосаксонская раса в Европе и в Америке.

– В самом деле я заболталась, – сказала Лиза. – Пожалуй, наш гость в первый день нашего знакомства сочтет меня моралисткой, резонеркой, педанткой, чем-нибудь вроде синего чулка. Жаль, что я на этот случай не надела папашиних очков, были бы мне кстати.

– Мы говорили о сыне, – начал опять Ранеев, – а я так полюбил Андрея Ивановича, что желал бы познакомить его со всеми членами моего семейства. Этот юноша (Ранеев показал на портрет юнкера), который безвинно подал вам повод к спору, только что перешел было блистательно в третий курс здешнего университета, но, услышав о смутах в Царстве Польском, разгорелся желанием поступить в военную службу. Нечего было делать, отпустил с моим благословением. Теперь он юнкером в одном из пехотных полков, расположенных около Варшавы. Володе только 20 лет... среди народа коварного, вышколенного иезуитами, враждебного нам... Знаю я их хорошо. Побывал порядком в их руках. Надо вам сказать, по несчастному случаю, в революцию 30 года я попался к ним в плен. Чего не натерпелся! Купался я после того и в чернильном омуте, не знаю, что лучше. Как-нибудь расскажу вам о моих похождениях. Вот этот (Ранеев указал на портрет офицера в мундире семеновского полка) отец мой, пал с честью на Бородинском поле. Благословенна буди его память.

Ранеев благоговейно перекрестился.

– А этот (он указал на портрет рыцаря в панцире) – отец моей жены. Панцирный боярин. Вы, конечно, не знаете, что это за звание?

– В первый раз слышу.

– Надо вам сказать, во времена сивки-бурки, вещей каурки, это были пограничные стражники близ рубежа Литвы с Россией. Они должны были охранять границы от нечаянного вторжения неприятеля, в военное же время быть в полной готовности к походу. За то пользовались большими участками земли, не платили податей, освобождались от других повинностей. Бывали ли они в деле, нюхали ли порох, это покрыто мраком неизвестности. Позднее панцирные бояре составляли почетную стражу польских крулей, когда они выезжали на границы своих коронных земель. Встретить и проводить наяснейшего, вот в чем состояла вся их служба – не тяжелая и не опасная. За этот парад пан-круль оделял свою почетную стражу дукатами, собранными с жидов и голодных крестьян, имевших счастье обитать на его коронных землях. Некоторые панцирные бояре получали в награду и шляхетство. Как не горевать о такой благодатной доле! Но эти времена давным-давно прошли, сделались мифом. Теперь панцирные бояре только именем существуют еще кое-где в западных губерниях. Они сошли со своей почетной сцены в ряды государственных крестьян и мещан, и с богатых коней пересели на клячи. Редкие из них удержали за собой шляхетство^[1]. Но гонор их еще не угас, в сундуках у некоторых хранятся еще панцири. Как евреи ожидают своего Мессию, так и они ждут, что серебряная труба созовет их на встречу пану крулю, брошенному с неба. Вот и этот из числа их (Ранеев гневно взглянул на портрет рыцаря в панцире). Я давно выкинул бы его из окна, если бы не удерживала меня мысль, что оскорблю и прогневолю там, на небе, мою дорогую Агнесу. Суровый, жестокий старик. Он был перед ней так виноват, а она все-таки его любила и, умирая, завещала мне простить его и стараться помириться с ним. Я было простил, искал мира, но... – Ранеев угрюмо махнул рукой и задумался.

– Вы забыли сказать, как провожали Володю в дальний путь, – проговорила нежным, любящим голосом Лиза, желая отвлечь отца от неприятных воспоминаний и пользуясь его рассеянностью.

– Да, да, – сказал Ранеев, вызванный из забытья этим голосом, – отправляя его на службу, я съездил с ним в Бородино. Вот из этого окна вы видите дорогу к нему, за Даргомиловской заставой.

Старик привстал, указал из окна по направлению своей руки и прибавил с особенным одушевлением:

– Бородино! это Пантеон народной славы, усыпальница героев, какой не имеет ни одна держава кроме русской. Строй они там себе аустерлицкие мосты, сооружай севастопольские бульвары, а не бывать у них нерукотворенного памятника, подобного Бородинскому полю. Провожая Володю на службу, я повез его туда. Солнце как нарочно сияло во всем своем блеске на голубом небе. Мы обнажили головы и со слезами горячо молились. А молились мы, чтобы русское сердце всегда так билось любовью к отечеству, как оно билось в этот день у ста с лишком тысяч наших воинов. Укажите между ними хоть на одного изменника; даже этого имени не знали тогда у нас.

– А писем нет, как нет, Лиза? – сказал грустным голосом Ранеев немного погодя.

– Нет, папаша.

– Юноша писал ко мне аккуратно каждую неделю, а ныне что-то изменил.

– Военный, – заметил Сурмин, – все равно, что кочевник, сегодня разбивает здесь свою палатку, если она у него есть, а дня через два, глядишь, очутился за сто верст.

– Да и почти в наше смутное время, особенно из тех мест, где почтмейстеры поляки, изменнически неисправны. Но это еще не беда, лишь бы хранил Господь. А приходил к нам кто-нибудь, Лиза?

– Был кузен Владислав, – отвечала она несколько дрожащим голосом, видимо, смутившись, но стараясь скрыть свое смущение; – я увидала его из окна и велела няне сказать ему, что никого нет дома.

– И хорошо сделала, дружок. Вот видите, – продолжал Ранеев, обращаясь к гостю, – это Стабровский, дальний родственник моей покойницы. Неглупый молодой человек, добрый, благородный. Мы его очень любили. Казалось, так всегда предан России. И было за что. Родился на русской земле, воспитывался на казенный счет в русской гимназии, кончил курс в русском университете, состоит на русской службе, идет по прекрасной дороге... Но с некоторого времени прогневался на Россию, стал частенько завираться о какой-то польской национальности в западных губерниях. Пospорил я с ним едва не до ссоры. Думал, не придет больше, – он неймется. Но заикнись он со своими фанабериями в другой раз, так мы навсегда с ним простимся.

Лиза сидела в это время, опустив длинные ресницы на глаза, как будто желая скрыть, что у нее происходило в душе, сожаление ли к родственнику, или участие более нежное.

«Ага! – подумал Сурмин, – осеклась наша героиня! Неужели она любит этого полячка? Жаль, личность интересная, надо бы оставить ее за русскими».

Ударили в звонок. Лиза посмотрела в окно, вскричала:

– Почтальон! – и опрометью бросилась в сени.

– Дай Бог, чтобы от Володи, – сказал старик, крестясь.

Лиза принесла письмо, оно действительно было от Володи. От радости Ранеев приказал дать почтальону гривенник.

Сурмин спешил распротиться со своими новыми знакомыми, для которых в эти минуты гость не в пору был хуже татарина.

– Вы, друг мой, можете быть, спасли мне нынче жизнь, – сказал старик, пожимая ему крепко руку, – оживили своей беседой наше пустынное житье, да еще вдобавок будто с собой принесли весточку от сына. День этот записан у меня в сердце. Во всякое время вы наш дорогой гость.

Лиза дружески подала ему руку, промолвив задушевым голосом:

– Если резонерка не наскучила вам своей болтовней, приходите опять поспорить с ней.

Выходя из дому, Сурмин посмотрел на свои часы.

– С лишком два часа просидел я у них и не видал, как пролетели, – говорил он сам с собою. – Чудные бывают дни в нашей жизни, – продолжал он свой монолог, направляя шаги на извозничью биржу под Новинским. – Приходят ли они, как глупые облака, нанесенные над нашею головой таким же бессмысленным направлением воздуха, или посылаются рукой Провидения, – знает один Бог. Надо же было мне выйти на Кузнецкий мост для покупки себе барометра и встретить у окон Дациаро того странного, но прекрасного, добродушного старика, которому семейство наше было некогда так обязано. Надо было встретиться ему при выходе от Швабе с каким-то врагом, злодеем, упасть и ушибиться, а мне отвезти его домой и увидеть его дочь. Чудный старик-дитя! Жизнь его так загадочна, несчастье такое таинственное и ужасное!.. Мещанин, коллежский советник обокрал казну, обокрал его, убил жену... Старик откровенен до простодушия, полюбил меня и когда-нибудь расскажет мне свою грустную повесть. Превосходительство! Занимал видное место, мог нажить себе состояние, как это многие делают, и между тем беден, и дочь, как она сама мне говорила, дает уроки по домам!.. Вот вам и честность!.. Родятся же такие чудачки!.. Одни называют их уродами, другие глупцами, я глубоко уважаю их. Русское семейство именем и любовью к отечеству, и какая смесь разнородных стихий втекла в него! Жена и отец ее, какой-то панцирный боярин, поляки, и этот кузен Владислав, при имени которого она смутилась... Кажется, такая строгая на словах, с энергическим характером, жаждет подвигов... Да полно, так ли велики эти силы, как высказывает? Не мираж ли? Говорить благоразумно, одушевленно, а между тем заведись червяк в сердце, так запоем другое... может быть, и завелся. Странно, я узнал ее только ныне, а она уж околдовала меня, я

засиделся у них, заслушался ее. Очаровательно хороша! Какой дивный профиль! какие глаза! Умна и с огоньком! Уж, конечно, не имею права ревновать ее, это безумно, между тем как будто инстинктом ревную к этому Владиславу, которого и в глаза не видал. Чтобы ни было, узнаю их покороче, узнаю его, и тогда что Бог даст!.. По крайней мере, как сказал старик, и у меня этот день записан в сердце.

История прошедшей жизни Сурмина коротка и проста, не представляет особенно интересных эпизодов, выходящих из ряда обыденной жизни. Родился он от приреченского зажиточного дворянина, человека образованного, хорошего семьянина, хозяина-домоседа. Он редко и то на самое короткое время выезжал из своей деревни в одну из столиц, жил на широкую руку. До двенадцати лет Андрюша был один сын у родителей, позднее Бог дал ему двух сестер-двойников. До появления же их в свете вся любовь матери и отца сосредоточивалась безраздельно на нем одном. Мать его, дочь довольно известного русского литератора двадцатых годов, в первые годы его детства сама учила его всему, чему училась в одном петербургском институте, из которого вышла с шифром, и, что всего важнее, умела внушить ему любовь к добру, правде и чести. Примером ему была жизнь отца и матери. После русского дядьки у мальчика не было гувернеров, гувернером ему был сам отец, оставшийся более другом его, чем руководителем, до последних дней своих. Дитя, потом юноша поверял ему и матери своей все свои проступки и даже увлечения. По смерти отца эта дружеская доверенность перешла нераздельно в наследство к матери. Когда Андрюше минуло 13 лет, его повезли в Петербург. С того времени Сурмины оставались там постоянно целые годы кроме кратковременных экскурсий в деревню для проверки хозяйства. В Петербурге ходили к мальчику дельные учителя. В пособие к этому преподаванию отец его, имевший богатую библиотеку, познакомил его с сокровищами новой литературы в подлиннике и древней в лучших немецких и французских переводах. Таким образом Андрюша, одаренный от природы хорошо устроенной головой и с живой восприимчивостью всего, что ему преподавали, приготовился к поступлению в высшее учебное заведение, именно в лицей, так как предназначали его в гражданскую службу. Однако ж, вместо лицея он попал в школу гвардейских юнкеров, по убеждению начальника школы, друга отца его, обещавшего иметь об нем попечение, как о собственном сыне. Во время пребывания его там он потерял отца и горько его оплакал. Кончив курс в школе юнкеров, молодой человек поступил на службу в кавалергардский полк. Это сделано было уже по настоянию и покровительству его крестной матери, дамы высшего аристократического круга, уверявшей Сурмину, что, еще держа новорожденного у купели на руках своих, она обрекла его в кавалергарды. Мать согласилась, но объявила сыну, чтобы он не покидал своих любимых занятий и готовился со временем к более деловому служению в генеральном штабе. Когда Сурмин в первый раз явился к своей крестной матери в полной форме кавалергарда, она не могла довольно налюбоваться им. От нее он выехал на тысячном коне, ею подаренном. В полку он строго исполнял свои служебные обязанности и в кругу офицерском слыл за прекрасного, благородного товарища. Не позволял он себе задорных речей, в деле чести был строг к себе и к другим. В карты не играл, не любил буйных оргий, но не отказывался в своем кругу от лишнего бокала шампанского. В женском кругу он имел несколько счастливых, хотя и мимолетных, побед, без всяких серьезных увлечений; в маскарадах красивого, стройного кавалергарда любили интриговать и дамы высшего полета, и актрисы, и знаменитые камелии. С одними он очень умно любезничал, другим позволял похитить себя на несколько упоительных часов, смеясь в бороду богатым старичкам, безрасчетно сыпавшим на своих любовниц золотом, благо и неблагоприобретенным.

Мы видели, что он приезжал с матерью в Поречье, когда по случаю семейных обстоятельств и по милости опекуна, родного брата отца его, имение их едва не было продано с молотка. Как оказались долги на имении их и как увлечены были Сурмины в эти трудные обстоятельства, мы, может статься, будем иметь случай говорить при встрече этого братца на перепутье нашего романа. Пробыв на службе в кавалергардах узаконенное число лет, он перешел в

генеральный штаб. За несколько времени до того умерла его крестная мать, завещав ему свой миниатюрный портрет, писанный во время ее счастливой молодости. В генеральном штабе он оставался не больше пяти лет, призванный в деревню любовным голосом матери заняться хозяйственными делами, с которыми она, по слабости здоровья, не могла больше совладать.

Одним из самых пламенных желаний ее было, чтобы сын ее женился, хотя бы выбор его пал на бедную девушку; но выбор этот не представлялся.

Сурмин, приехав в Москву по одному тяжёбному делу, затеянному вновь его судьям дядей, имел случай бывать в разных кружках московского общества; здесь маменьки и дочки искусно и неискусно пускались на ловлю богатого женишка, но он не поддавался их маневрам; сердце его оставалось свободным. Не чувство нежное вынес он из этих кружков, а злую сатиру на них, он же по природе был склонен к ней.

III

В Москве, также как и в Петербурге, есть и роятся дома, которых владельцы, желая избавиться от хлопотливых сношений со многими постояльцами, отдают квартиры целыми отделениями одному наемщику, а этот, уже по своему усмотрению и расчетам, разбивает их на несколько номеров. Ставятся в них разнокалиберная мебель, купленная на Сухаревском или Смоленском рынках, и с того времени они из рядовых квартир возводятся в чин меблированных комнат и даже в *chambres garnies*³. Между тем некоторые из них можно бы приличнее назвать *chambres dégarnies*, – так выцвели и закоптили на них обои, облупились под когтями времени двери, полы и окна, так бедны они предметами сидения, лежа и хранения вещей, необходимых жильцу. Правда, некоторые, из этих жильцов могут сказать с гордостью римлянина, что они все свое имущество носят с собою. Случается, что по истечении контрактного срока хозяин дома, довольный наемщиком отделением за аккуратный платеж условных денег и добропорядочным поведением его постояльцев, решается обновить отделение на прежних или новых условиях. Для этой операции пользуются благодатными летними месяцами, когда жители Москвы, кто может по средствам своим, спешат, как говорится в витиеватом слого, броситься из душной Белокаменной в объятия природы. Тогда отделение большею частью опустеет, все птенцы его повылетают из постоянных гнезд своих и свивают временные по окрестностям. Дачи столько раз и так эффектно описаны нашими фельетонистами-повествователями, что я избавляюсь от нового описания их. При наступающем обновлении меблированных комнат разве не покидает свою каморку какой-нибудь бедняк студент, которому не выпал счастливый жребий ехать на вакационное время к помещику – обучать всякой премудрости его детище, и осталось переноситься одними грустными думами в отдаленные родные края,

Где тыква и арбуз на солнце зреют.

Да и тут, если угол его понадобился для окраски и оклейки, его заставляют перекочевать в другой, обновленный номер, где он имеет удовольствие не только считать галок на крышах соседних домов и любоваться, смотря по погоде, голубыми или серыми клочками неба, но и обонять до одурения зловоние свежей масляной краски.

В одном из домов на Арбатской улице содержала подобное отделение, комнат в двадцать, Гертруда Казимировна Шустерваген, вдова, по происхождению шляхтянка, по родине поляка, по замужеству немка, лет 45. На линиях уже отцветшего лица ее можно было выследить, что она была некогда очень недурна. Но в настоящее время бывшая хорошенькая бабочка готова была завернуться в оболочку куколки, которою мог разве любоваться натуралист, занимающийся метаморфозами женского пола. В молодости своей, как знали самые интимные ее приятели, она была равнодушна к мужескому полу. Еще и теперь, когда беседовал с нею интересный молодой человек, в сереньких глазках ее мелькали искорки того огня, которым они прежде горели, голос ее, обыкновенно *fortissime*⁴, переходил в бемольный. Не увь! эти искры падали на собеседника, не оставляя по себе следа, этот бемольный голос не производил никакой тревоги в сердце слушателя. Историю ее рассказывают следующим образом. Восемнадцати лет похитил ее офицер из дома родительского, пожил с нею несколько месяцев в нигилистическом браке и бросил ее на произвол судьбы. Наградой за прекрасные дни, с нею проведенные, были: двадцатипятирублевая кредитка с оторванным во время азартной игры номе-

³ *chambres garnies* – меблированные комнаты (*фр.*)

⁴ *fortissime* – очень громкий (*ит.*)

ром, самовар, довольно поворчавший на своем веку, две столовые и одна чайная серебряные ложки, потерявшие от долговременного употребления свой первоначальный вес. Справедливость требует прибавить в придачу к этому наследству одну, разрозненную с подругою, серебряную шпору, вальтрап с померкшими звездами, разного сомнительного металла галуны, из выжиги которых несомненно можно было извлечь унции две меди. Да разве присовокупить к этой росписи дюжины две пустых бутылок, в которых хранилась некогда искрометная влага «благословенного Аи»⁵. Все эти предметы могли только пробудить в сердце нашей Ариадны драгоценные воспоминания об исчезнувшем Тезее и исторгнуть из глаз ее слезы при мысли, что на днях у нее не будет насущного хлеба. В таком бедственном положении она решилась было утопиться, но ее избавил от купанья и его горших последствий пан эконом господского фольварка, жадно заглядывавшийся на нее в приходском костеле, как на будущую лакомую добычу. Вслед за первым льстивым предложением Гертруда, недолго думавши, поступила к новому своему патрону. Но и этот, поживши с нею в натуральном браке года с два, потребован к отчету не в управлении фольварком, а в умении распорядиться жизнью, дарованною ему небесами. От пана эконома досталось ей наследство покрупнее и поценнее офицерского. Она поселилась в Вильне, где и ожидала, что взойдет над нею более счастливая звезда. Так и случилось. Здесь приглянулась она каретнику Шустервагену. Он любил делать все аккуратно и прочно, чему доказательством служили его оси, не боявшиеся ударов многопудового молота, и шины, которые выдерживали русские шоссейные дороги на тысячу верст, и потому предложил Гертруде Казимировне свою руку и сердце. Этот союз, вдвойне укрепленный у двух алтарей благословениями ксендза и пастора, был долговечнее связей, не освященных церковью. Супруг ее скоро переселился в Москву, разумеется, и она за ним последовала под сень златоглавого Ивана Великого. По истечении безмятежного, хотя и бездетного, 20-летнего супружества она уже законно овдовела и осталась после покойника законною обладательницей кругленького капиталца, ей аккуратно завещанного. Привыкнув к добропорядочному хозяйству в школах коханна эконома и своего *lieber'a* Карла Иваныча, Гертруда Казимировна рассудила за благо, для сохранения и даже приумножения этого капитала, завести меблированные комнаты. Она повела свое дело так хорошо, что через два, три года отделение ее прозвано было, хотя и неофициально, польскою отелюю, а иные, в подражание знаменитой варшавской, возвели ее в саксонскую. Постояльцы у госпожи Шустерваген были студенты, офицеры, приезжие со службы в отпуск и отставные, помещики, адвокаты, люди, ничего не делающие или делающие очень много под маскою праздности, – большею частью ее компатриоты, поляки, или так называющие себя уроженцы северо- и юго-западных губерний. Можно бы разделить их по состоянию на несколько разрядов. Иные могли назваться людьми достаточными. Эти занимали по два и даже по три комфортабельных номера, которые Гертруда Казимировна прозвала графскими, хотя ни один граф в них не останавливался. Другие из постояльцев жили без нужды, третьи перебивались из месяца в месяц на свое скудное жалованье, на стипендии и уроки. Были и такие, которые, вместо обеда или чая, в черные дни питались табачным дымом. Но и тут добрая хозяйка, заметив, что в урочный час в такой-то номер не требовали обеда, и узнав, что постоялец дома и здоров, приказывала иногда подать к нему обычные порции. За то и сиротствующие студентки называли ее своей мамашей. Бывали даже и такие добросовестные господа, которые, прожив в ее саксонской отеле несколько месяцев на мелок, утекали тайком ночью, оставив ей в полную собственность пустой, ветхий чемодан. Выезжали некоторые из таких господ и днем, запечатлев при этом случае поцелуем в ручки сохранную росписку, по

⁵ *искрометная влага «благословенного Аи»* – одно из знаменитых шампанских вин. Название происходит от французского *ai* (или *ay*), восходит к французскому *le vin d'Ay* – вино из Аи, центра виноделия Шампани. Производство шампанских вин в Аи началось в конце XVII века. В конце XVIII века Аи, как и другие шампанские вина, появилось в России.

которой она могла отыскивать кредитора по всем концам размашистой России или требовать уплаты на втором пришествии.

– А як я добродзея спокоила и жаловала, и як он негжечно отплатил мне за то вшистко, Пан Буг с ним!

Пробоина была сделана порядочная в корабле госпожи Шестерваген, но случилось, однако ж, что пассажиры на нем спешили поправить несчастье капитана в юбке, которого они любили за доброту, за честное и точное исполнение условных обязанностей. Они составляли складчину, покрывавшую долг беглеца. Таким образом в этой польской колонии вождь ее и колонисты обретались в ненарушимой приязни.

Один из так называемых графских номеров занимал Владислав Стабровский, хотя был в незначительном чине. Он по службе получал жалованье около тысячи рублей, да вдобавок мать его, белорусская зажиточная помещица, любившая делать все во славу своего имени, присылала ему ежегодно более тысячи, что составляло порядочную сумму, на которую бессемейный может жить комфортабельно. Его квартира состояла из двух просторных комнат, служивших одна гостиной, а другая кабинетом; в третьей с полусветом была его спальня. Прибавьте к ним переднюю с перегородкой, и вы согласитесь, что помещение это, наполненное приличной мебелью, могло удовлетворить житейские потребности молодого человека, да еще холостого. Он держал слугу, имел порядочный стол, за приготовлением которого особенно наблюдала Гертруда Казимировна, не отказывал себе в светских удовольствиях, но и не сорил деньгами. С кандидатским аттестатом, умом, деятельностью и покровительством людей с весом, он, несмотря на свою молодость, занимал место, служившее ему надежной ступенью к видному повышению. Не говорю о благородных правилах, которых он строго держался и которые в наше время полагаются иногда на весы при оценке служебных качеств. Надо прибавить, что большую долю покровительства доставил ему Ранеев, имевший еще связи с сильными мира сего.

Мы застаем Владислава Стабровского в одни из самых тревожных, роковых часов его жизни. Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати шести. Кто не знал бы его славянского происхождения, сказал бы, что он итальянец. Тип Авзонии отпечатался на его несколько смуглом лице, в его черных глазах, горящих томительным огнем юга, в его черных, шелковистых волосах, густо ниспадающих на шею. Ничего резкого, выдающегося, ни одной ломаной линии в тонких чертах его лица; все было в нем полная гармония.

Едвиг Стабровская, вдова белорусского помещика, имела двух сыновей, – старшего Владислава и меньшего Ричарда.^[2] Оставшись после смерти мужа с небольшим состоянием, она не могла воспитывать их на свои средства. Но на помощь ей пришла матушка-Россия. Эта добродушная орлица одинаково принимает под теплые, широкие крылья свои всех птенцов, прибегающих и приползающих к ней, не разбирая – из голубиной они породы, или из ястребиной. Зато, когда ястребки оперятся, вылетят из гнезда и почувствуют, что у них есть острый клюв, они нередко, в благодарность за попечения воспитавшей их матери, стараются заклевать ее. С этой помощью Едвиг отдала на казенный счет сначала первого сына в русскую гимназию, а затем второго, который был моложе его четырьмя годами, в один из кадетских корпусов. Владислав, по окончании университетского курса, пошел по гражданской службе; Ричард вышедши из корпуса, – по военной и поступил в один из гвардейских полков.

Только тогда, когда Владислав вышел из университета, мать его неожиданно получила богатое наследство. Революционные помыслы ее, некогда смиряемые скромным положением в свете, не позволявшим ей успешно действовать, при благоприятном для нее повороте колеса фортуны, развернулись во всей силе. Владислав, бывший у нее в отпуску за год до того времени, с которого мы начинаем наш рассказ, слышал от нее, что в Москве живет ее родственник в третьем или четвертом колене, Ранеев. Воспитанная и опекаемая ксендзами, она не любила ничего, что носило имя русское; но как родственник этот был превосходительный, то следуя правилам тайного польского катехизиса, задумала чрез его покровительство со време-

нем доставить сыну место, где он мог быть полезен польской справе. Замыслы эти не были известны Владиславу, хотя она с малолетства его и впоследствии, при кратковременных свиданиях с ним, старалась напитывать его восприимчивую, пылкую натуру любовью к польской отчизне, которую, однако ж, до поры до времени сливала с русским государством под одну державой.

Владислав, возвратись в Москву из отпуска, отыскал Ранеевых, был ими ласково принят, как родной, и с того времени считался членом их семейства. До того родственны были их отношения, что молодые люди обращались друг с другом на ты. Лиза несколько раз заходила с отцом к нему на квартиру и хозяйничала у него за чайным столом. Полюбив их, он стал любить имя русское, русскую землю. Но позднее явились в Москве польские эмиссары и начали постепенно искушать его революционными идеями. Мы уже узнали, из рассказа Ранеева Сурмину, неосторожный отзыв его о польской национальности в Белорусском крае, и как этот отзыв нагнал черную тучу на мирные, дружеские отношения, доселе никогда с обеих сторон ненарушаемые. Если что и удерживало доселе Владислава предаться вполне коварным внушениям польской пропаганды, так это было чувство, что были надежды, охватившие вполне его душу. Увенчайся эти надежды успехом, и он, может быть, принадлежал бы всем существом своим России.

Красота Лизы не могла не сделать сильного впечатления на сердце молодого человека. Под покровом родства они сблизились. Владислав полюбил ее страстно; она показывала, что любит его, как одного из лучших, добрых друзей своих. Слово любви никогда не было произнесено между ними. Ранеева когда-то говорила своей интимной подруге:

– Если девушка сказала мужчине, что она его любит, так обручилась с ним навсегда; если ж в увлечении страсти поцеловала его, она сочеталась с ним союзом, над которым нет уже власти ни отца, ни матери, нет власти земной. Только смерть одного из них может его разорвать. Это два акта сердечного священнодействия, ими шутить нельзя.

Может быть, слова любви не смели они произнести, потому что над головами их висел дамоклов меч, который в один миг мог расцезь их тайные надежды. Этим мечом было слово отца, хотя сказанное в простом разговоре, но твердо намеченное, что он никогда не даст своего благословения союзу дочери с польским уроженцем.

– Мне всегда будет чудиться, – говорил он, – что мой зять сделается врагом России.

Воля Ранеева была далеко не тираническая, но в этом случае непреклонная; преступить эту волю значило убить его, а спокойствие и здоровье отца было для Лизы дороже всего на свете. Правда, Владислав со своей страстной натурой не мог в минуты интимных бесед с кухней не обнаружить хоть проблесками своих тайных чувств; но Лиза спешила погасить их или смехом, или строгим, холодным словом, которому он волей-неволей покорялся, боясь потерять и ту долю любви, приобретенную, как он догадывался и без свидетельства слов. С этой поры она держала его в строгих границах родственной дружбы. Кто в состоянии был бы заглянуть глубже в тайник ее души, увидал бы, может статься, что она совершает тяжкий подвиг. Она любила его, но не *должна* была любить, – натура страстная, но готовая на все пытки, лишь бы исполнить долг свой. В таких отношениях оставались они до того времени, когда мы знакомим с ними читателя.

Палевая полоса обозначалась уже на восточном небосклоне и все более и более разгоралась, а Владислав, заснувший только с час и разбуженный после полуночи появлением рокового для него вестника, все еще оставался в том положении, в которое он был повергнут после проводов его. Этот вестник был капитан генерального штаба Людвиг Жвирждовский. Он привез письмо от Едвиги Стабровской к сыну и обещался прийти на другой день за ответом. Владислав то сидел в глубокой задумчивости, облокотясь на стол и утопив пальцы в густые нечесанные волосы, то задремлет, одолеваемый физическим утомлением, то вдруг встрепенется, как будто кто-нибудь толкнул его. И пойдет учащенными шагами ходить по комнате. Глаза его

были мутны от бессонницы и душевной тревоги. Временами делал он энергические движения рукой, вырывались у него отрывистые слова, на которые он сам давал ответы: – Освободить отчизну? Безумие!.. Сколько раз эти попытки сопровождались еще большими бедствиями для Польши! Все вздор!.. И какой я полководец? Что сумею я сделать в сражении? Все то же, что рядовой жолнер. И тот по своим физическим силам будет полезнее меня. Одушевлять их, когда я сам пал духом?.. Проститься навсегда с Лизой, проститься с лучшими надеждами своими! Пускай гром Божий падет на голову тех, кто затеял эту кутерьму!.. Но любит ли она меня? Когда ж говорила она мне это? Не обольщаюсь я одними приметами?.. А так завет отца... я поляк... ее не отдадут за меня... я должен, однако же, узнать... Испытаю, решусь написать ей, спрошу, и тогда посмотрю, остаться ли мне здесь вопреки воли матери, или ей повиноваться. Не могу повиноваться. Не могу дальше вынести муки неизвестности.

Он опять сел, закрыл рукою глаза, наполненные слезами; после того, потрянув головой, словно стряхал из нее мрачные мысли, стал перечитывать письмо, Лежавшее на столе. Вот что писала мать. Чтобы избавить читателя от затруднения разбирать письма и разговоры на польском языке, буду передавать их в русском переводе.

«Любезный сын!

Хвала Пану Иезусу, Польша еще не сгнила!

Податель этого письма мой искренний, душевный друг. Доверься ему во всем; он объяснит тебе изустно, чего я, женщина, не имею возможности передать тебе, особенно на бумаге. Могу только сказать: наступило роковое время для нашей дорогой Польши, при имени которой сердца сынов ее не переставали биться любовью и самоотвержением, несмотря, что они сто лет придавлены были медвежьей лапой. Никогда еще обстоятельства не были так благоприятны, чтобы сбросить ее. Все готово для совершения великого подвига. Воины за свободу, имя и честь нашей отчизны стекаются со всех сторон под крылья белого орла. Друзья наши не только на нашей родной земле, но и за границей – многочисленны. Франция, Англия, Италия и Швеция скоро затопят Россию своими армиями и выгонят орды ее из Европы, где варварам и еретикам не должно быть места. Туда их, в азиатские снега, где они могут обниматься со своими четвероногими, такими же мохнатыми братьями. Внутри России готовится мятеж. Наши занимают надежные места и работают разумно, ревностно. Быдло московское, которому задали дурману золотыми грамотами, готово поднять за рога все, что попадется ему навстречу. Сами русские нам помогают. Передовые их люди, литераторы и юношество, настроенное нашими учителями, – это стадо глупых баранов, бегут на зов интеллигенции. Брат твой, бывший прапорщик в русской службе, утек из полка, и уж пулковник жонда. Брось и ты свое подьячество. Замыслы мои о твоём будущем назначении теперь не годятся. Не с пером, а с мечом должны выступить сыны Польши в ряды освободителей ее. А там кончится война, – победа будет несомненно на нашей правдивой стороне, благословляемой святейшим отцом-папой, – ты можешь бросить меч в сторону и занять важное место в польском королевстве. В России черепашным классным шагом недалеко уйдешь. Я слышала, не скажу от кого, что тебя обворожили в семействе Ранеева, что ты влюблен в его дочку. Не смей и думать о союзе с еретичкой. Разве перевелись на нашей земле красавицы, которыми она всегда славилась? Пан Людвиг назначен могилевским воеводой. Он обещает тебе также номинацию в пулковники и начальство над витебским отрядом близ нашего имения, на границе Могилевской губернии. Друзья мои ручаются мне за две тысячи молодцов, если ты будешь их вождем; как рыцари креста шли на освобождение Гроба Господня от ига мусульманского, так ты должен спешить на освобождение отчизны от ига еретиков и варваров. Приезжай не мешкая, время не терпит. Объятия матери ожидают тебя. Горжусь, что имею двух сыновей, готовых умереть за великое дело, как умирали Горации. Крепко прижимаю тебя к сердцу, пане пулковник, благословение мое над тобою, милый сынку.

Нежно любящая тебя мать *Едвиги Стабровская*.

Р. С. Сожги это письмо; не кротость агнца нужна нам теперь, а мудрость змеи. Пан ксендз Антоний прочитал его и одобрил. Он посылает тебе свое пастырское благословение. В этом письме найдешь другое на твоё имя. Пишу в нём, что отчаянно больна. Ты предъявишь его своему начальству, чтобы дали тебе скорее законный отпуск. Из деревни, осмотревшись и приготовив все, ты можешь для формы подать в отставку или поступить, как брат, то есть разом разорвать все связи свои с московской Татарией».

Когда Владислав прочел во второй раз письмо, в груди его подняли борьбу разнородные чувства: повиновение и любовь к матери, благо отчизны, хотя и неверное, благодарность России, его усыновившей, так много для него сделавшей, и любовь к Лизе. Это чувство пересилило остальные, и он решился писать к ней;

«Милый, бесценный друг Лиза! Воля твоя была никогда не говорить тебе о любви моей. С лишком полгода исполнял я её, как священный обет, данный Богу. Слово твоё, твой взгляд были для меня законом. Но теперь наступил для меня роковой час. Мне предстоит один выбор: счастье всей моей будущности, или моя гибель. Жребий мой в твоих руках. Я должен сломить печать, наложенную тобою на мои уста. С первой минуты как я увидел тебя, я полюбил тебя тою силою страсти, которая может только погаснуть с жизнью, полюбил тебя более всего, что для меня дорого и свято в мире. Ты была для меня не только любимая женщина, была божество, которому я поклонялся. Не скажу тебе ничего более потому, что нет слов ни на каком земном языке, чтобы выразить тебе, что чувствует мое сердце.

Вчера я получил письмо от матери; она зовет меня к себе. Не скрою от тебя, что она делает меня орудием политических замыслов. Но скажи мне, что ты меня любишь, поклянись, что не отдашь сердца своего и руки никому кроме меня, и я преступлю волю матери, буду глух к зову моего отечества, моих братий и останусь здесь, счастливый надеждой, что ты увенчаешь когда-нибудь мою любовь у алтаря Господня. Буду ждать месяцы, годы. Не скажешь этого, и я уезжаю отсюда с растерзанным сердцем, покорный воле матери, на родину, где меня ожидает смерть или на поле битвы, или в петле русской. Жизнь без тебя мне более не нужна. С последним дыханием моим, последнее слово мое будет дорогое твоё имя.

Твой *Вл. Стабр*».

– Кирилл! – закричал он, – запечатав письмо.

Слуга, храпевший за перегородкою, встрепнулся, как ретивый конь на зов бранной трубы, вскочил со своего ложа и явился перед лицом своего господина. Это был человек лет сорока, небольшого роста, неуклюжий, с простоватой физиономией, с приплюснутым несколько носом, с глазами, ничего не говорящими. Он не успел второпях обвязать шею платком и застегнуть сюртук, мохнатая грудь его была открыта.

– Эх! пане, встали с кочетами, – сказал он с сердцем, перемешивая русские слова с польскими и белорусскими; так как жизнь его прошла сквозь строй трех народностей и ни на одной не установилась, то и в речи его была подобная смесь.

– Сами не спали, да и мне не дали порядком отдохнуть, после того охфицера, чтоб ему стали диавлы на дроги. Ходит украдкой по ночам, як злодей.

– Ну, не сердись, сослужи мне службу. Ты знаешь, где живет генерал Ранев?

– На Прысни-пруде.

– Оденься, отнеси это письмо к паненьке Елизавете, передай ей осторожнее через няньку, чтобы не видал отец. Если она не вставала, это узнаешь по гардинам, задернутым в её спальне – первое окно от ворот, – так покарауль на берегу пруда у ограды и дождись, когда гардины поднимут.

Кирилл был из числа тех белорусских слуг, соединяющих с простоватой, несколько грубой речью безграничную преданность и верность господам своим, если господа только мало-мальски обращаются с ними по-человечески. Тем более был он предан доброму, невзыскательному Владиславу. Для него Кирилл готов был хоть на пытку. Если б его пилили, чтобы он открыл тайну своего господина, верный слуга не проговорился бы. Он не знал, что такое праздность, и сидеть без дела, скрестив руки, считал за великий грех. Когда ему нечего было делать по окончании обыденной барской службы, он то вязал чулок, то по доброй воле утюжил панские рубахи, как самая искусная прачка, то шил себе сапоги. Нужно ли было угодить женской прислуге в гостинице, без всяких видов на вознаграждение, даже сердечное, он шивал ей женские башмаки.

– На отдых, – говорил он, – Пан Буг дал человеку ночь. Задернет полог у неба – и все создание закрывает глаза, отдернет занавеску небесную – и засветит солнышко, человеку треба работать в поте лица. Не в черед другим дням воскресенье: шесть дней делай, седьмой Господу Богу.

И в этот день читал он молитвы по засаленному молитвеннику: «Krótkie zebranie różnego nabożeństwa». По временам слышалось за перегородкой: «Boże, bud miłościw mnie grzesznemu człowiekowi». Чтение это сопровождалось по временам глубокими вздохами.

Кирилл покачал головой и пробормотал что-то сквозь зубы, на что господином его не было обращено внимания, пошел увальнем за свою перегородку, надел чистую манишку, белый галстук, белый жилет и остальной костюм по праздничному, как бы шел в костел.

– Заприте, барин, за мною дверь; я иду.

В ожидании его Владислав стал опять неистово ходить по комнате, думая усиленными движениями уgomонить сердечную тревогу. Ожидания вестника были мучительны, минуты казались ему часами. Наконец послышался звонок; он отпер дверь; Кирилл подал ему письмо от паненьки Елизабеты.

Дрожащими руками распечатал его молодой человек. Холодом повеяло на него при чтении первых строк, далее и далее гнев и досада выступили на его лице. Вот ответ Лизы:

«Любезный кузен! Я никогда не имела тайн от отца, но на этот раз нарушаю свои правила. Чтение твоего письма, особенно после твоих безрассудных выходок о польской национальности, письма наполненного страстными выражениями, которых ты мне никогда не говорил, раздражило бы его и, может быть, сократило бы его жизнь, – а ты знаешь, что он мне дороже всего на свете. В другое время я не отвечала бы тебе. Но я вижу, что ты находишься в каком-то болезненном, раздражительном состоянии, что письмо твоей матери тебя взволновало, и я решилась отвечать.

Тебя влекут на дело страшное, роковое, изменническое, как я догадываюсь. Не ставлю себя судьей в этом деле; не мне, а твоему разуму, твоему честному, благородному сердцу решить его. Моя обязанность покоряться отцу, которого я обожаю, а воля его тебе известна. Безрассудный! Зная все это, чего ты от меня требуешь? Чтобы я сказала тебе слово, после которого нет уже никакой родительской, никакой земной власти! И какое время выбрал ты для этого? Когда разгорается польская революция, когда в Варшаве стреляют в царских наместников. Может быть, родной брат твой в этот миг заносит меч над головой моего брата! Я не могу скрыть от тебя, вчера отец мой получил известие, что Ричард Стабровский бежал из П. полка. И в это самое время я поклянусь носить когда-нибудь опозоренное теперь имя?.. Что ж могу я после этого сказать тебе? Только одно: я любила и люблю тебя как брата, как одного из лучших друзей моих останусь любящею сестрой твоей, другом, пока ты сам не последуешь изменническому примеру Ричарда. Ты волен располагать своею судьбою, как тебе угодно; я не вяжу ни тебя, ни себя никаким обетом, никаким словом. У тебя есть мать, которой ты должен покоряться, как я покорна отцу моему. Но знай, что враг России есть его и мой враг. Уедешь,

буду сильно грустить, что потеряла друга, и молить Бога, чтобы Он возвратил тебя на путь истинный. Только на этом пути найдешь опять любящую тебе сестру *Лизу*.»

Тяжко дышал Владислав, читая это письмо. Он перечитал его снова, взвесил каждое выражение и нашел его слишком разумным, слишком холодным.

– Нет, она меня не любит, так не пишут любящие женщины! Участь моя решена! – сказал он и судорожно скомкал письмо в руке.

– Ты видел ее сам? – спросил он Кирилла.

– Нет, – отвечал тот, – мамка вынесла, да мувила: «Понапрасну барин твой только беспокоит себя и нашу барышню своими письмами. Он знает, что ей не бывать за поляком, вражьем сыном. Да у нее есть уж женишок, словно писанный, такой бравый, кровный русский дворянин, побогаче да почище твоего шляхтича. Не велика птица! У нас в Витебске кухарка и кучер были из шляхты».

– Ты не знаешь, как зовут этого женишка?

– Говорила, кажись, Сурмин. Да еще беззубая проворчала: «генерал в нем души не чаает и барышне больно полюбился; почти кажинный день бывает у нас».

Эти слова подняли со дна все, что накопилось в душе Владислава.

– Счастливо оставаться, – сказал он, махнув рукой.

– Кирилл! – крикнул он таким голосом, от которого вздрогнул бы другой на месте белорусца.

Слуга стоял в нескольких шагах, а он отуманенными глазами не видел его.

– Я здесь, пане.

– Мы послезавтра едем.

Кирилл покачал головой и спокойно сказал:

– Ладно, за нами дело не станет.

В комнате был камин. Владислав шелковиной связал вместе письмо матери и письмо Лизы, зажег их и бросил в камин, да, пока они горели, с каким-то злорадством терзал коробившиеся от огня листочки каминными щипцами.

Утром, часам к одиннадцати, приехал Жвирждовский; Владислав встретил его словами: «я ваш на жизнь и на смерть» и крепко пожал ему руку. Хозяин и роковой посетитель немного говорили; все было сказано в этих словах, в этом пожатии. Людвиг спешил в разные места для вербовки других соумышленников. Сговорились завтра с задушевными друзьями приехать к Владиславу завтракать, между тем изложить план будущих действий и дать отчет в том, что уже приготовлено. Хозяину предоставлялось пригласить и своих друзей, на которых он мог положиться.

Владислав начал готовиться к отъезду; он поехал к своему начальнику, показал ему письмо матери, в котором она писала, что отчаянно больна и желает его скорее видеть и благословить. Причина для отпуска была уважительна; он получил его на два месяца с дозволением проживать в Витебской и Могилевской губерниях, сделал нужные покупки и, возвратившись домой, утомленный бессонницей, душевно измученный всем, что выстрадал в этот день, бросился в постель. Сон его был крепок, как это бывает у иного преступника перед днем казни.

В самую полночь зазвенел колокольчик; он не слышал этого звона. Кто-то стал сильно будить его; он протер себе глаза, – перед ним стоял Кирилл.

– Братец ваш приехал, – сказал слуга.

– Братец Ричард? Зачем нелегкая его принесла? Что ему надо? Что такое случилось? Еще новая беда!

Владислав только это проговорил, как у постели его появился Ричард, бросился ему на грудь и крепко обнял его. Это был молодой человек, лет 22, прапорщик гвардейского П. полка.

Если б снять с его лица усики и слегка означившиеся бакенбарды, его можно было бы принять за хорошенькую девушку, костюмированную в военный мундир. И на этом-то птенце поляки сооружали колоссальные планы!^[3]

– Безумный! Зачем ты сюда? – сказал с сердцем Владислав. – Ты бежал из полка, тебя верно ищут, тебя найдут у меня, мы пропали.

– Я хотел только тебя видеть и обнять; я остановлюсь у Волка; он укроет меня, завтра же уезжаю. Мне нужно только увидеть Жвирждовского.

Владислав одумался, встал, накинул на себя шлафрок и со слезами на глазах бросился с жаром целовать брата.

– Что бы ни было, оставайся у меня и прости мне, что я спросонья так холодно тебя принял. Только одни сутки можешь оставаться здесь, с первыми поисками бросятся ко мне, и наше дело пропало... Мы не только братья по крови, но и братья...

Он не договорил, позвал Кирилла и наказал ему, чтобы в доме и помину не было о приезде Ричарда.

– Добрже, пане, и без вас знаем, – отвечал с сердцем слуга.

Это «добрже» в устах его значило, что тайна барина умрет в его груди.

– Что мать? – спросил брата Владислав.

– Это героиня, какую только Польша может в наши времена производить. Если б у нее было десять сыновей, она всех бы их пожертвовала отчизне. Она ждет тебя. Ты получил уже номинацию?

– Нет еще, но завтра все решится.

Братья, передав друг другу все, что каждому знать следовало, легли спать. Ричард в спальне, Владислав в кабинете. Первый, боясь своим присутствием у брата подвергнуть его каким-нибудь неприятностям и общее их дело опасности, встал с утренней зарей и простился с ним. Кирилл, неся за беглецом чемоданчик, выпроводил его из номера и из дому. На площадке наружной лестницы спал дворник, завернувшись в дырявый полушубок и уткнув в него нос, издававший свою однообразную музыку. Они перешагнули через него и дошли благополучно до квартиры Волка, жившего недалеко.

IV

К 10 часам утра собрались заговорщики в квартире Владислава. Хозяин пригласил их в свой кабинет, как место, более других комнат огражденное от любопытства посторонних слушателей. Кабинет отделялся от коридора каменной стеной и не имел в него дверей.

Между заговорщиками были три офицера, два студента, адвокат, учитель, два белорусских помещика и других званий личности; был и миловидный, румяный ксендз, с приходом которого комната окурилась косметическими благовониями. Один из них, помещик Суздилович, с отпятившимся вперед брюшком и с татарским обликом, на котором судорожно шевелились черные усики, как у таракана, – пересчитал число своих товарищей и заметил одному из них, что оно роковое – тринадцать. В душе своей он не верил этому мистическому числу, но ему нужна была приманка для спора. Этот господин любил вносить смуту во все собрания, где бы он ни появлялся. Тот, кому он это сообщил, просил не разглашать своего замечания другим, чтобы не встревожить суеверных. Но Суздилович не выдержал, и скоро все были посвящены в тайну великого открытия. Кто отвечал ему сердитой гримасой, кто усмешкой или пожатием плеч. Встревожился более всех пан солидных лет в колтуне,^[4] как в войлочной шапочке.

Один из студентов объявил, что если следует исключить кого-либо из общества, так скорее всего вещуна. Начался спор, крик; один голос пересиливал другой. Если б при заговорщиках было оружие, оно заблестало бы непременно. Но Владислав вскоре утишил войну, объявив, что лучше всем разойтись, чем в начале заседания из бабьего предрассудка возбуждать раздор.

Мир был водворен, и все уселись по местам вокруг большого круглого стола.

На президентском месте, отличенном от прочих нарядными креслами, сел офицер средних лет, с русыми волосами, зачесанными на одну сторону, живой вертлявый, в мундире генерального штаба, на котором красовались капитанские погоны. Он начал свою речь ровным, размеренным голосом:

– Как один из главных двигателей великого дела, я должен взять с вас, панове, слово не увлекаться горячностью, даже патриотическою, и не считать для себя оскорблением, если кто из ваших братий будет противного с вами мнения. Я первый даю слово подчиниться этому уговору. Только большинство голосов решает мнение или предложение, и этому решению покоряются все безусловно.

– Позвольте прибавить, пан Жвирждовский, – сказал молодой человек приятной, благородной наружности, с небольшим, едва заметным шрамом на лбу, оттененном белокурыми, выющимися волосами, – что тот, кто не согласится с решением большинства, не подвергается не только преследованию, но и осуждению.

Говоривший это был Пржшедиловский, бывший студент дерптского университета, вынесший из него с основательными знаниями и боевой знак. Во время школьной своей жизни задорный дуэлист, он впоследствии остепенился и сделался примерным членом общества, умным, честным и дельным чиновником, нежно любящим семьянином.

– Разумеется, дав слово не выдавать тайны нынешнего собрания и того, что будет в нем говориться, – отвечал Жвирждовский.

– Оговорка эта лишняя, пан, в обществе людей с истинным гонором, – отозвался с заметным неудовольствием Пржшедиловский. – Кто приглашен сюда, конечно, неспособен на роль низкого предателя: он может не соглашаться и не принимать на себя никаких обязательств, противных его убеждениям; но тайну, ему вверенную, не продаст ценою своей чести.

– Прошу у пана извинения, – спешил оговориться Жвирждовский, наклонив немного голову. – В знак мира вашу руку.

Оба подали друг другу руку, после чего пан Людвиг обратился к собранию с вопросом: согласно ли оно на предложенное условие?

– Что-то слишком рано пан Пржшедиловский забегает со своими оговорками, – заметил пузатенький господин, шевеля тараканьими усиками. – Кто не намерен принимать на себя никакой патриотической обязанности, тот напрасно пришел сюда.

– Я пригласил сюда моего друга, – перебил с твердостью Владислав Стабровский, – и никто не имеет права делать заключение, что он здесь лишний! Кто находит это заключение справедливым, исключает и меня из вашего общества. Часто совет, даже критика умного и благородного человека – важнее хвастливых, пустозвонных речей иного господина.

Пронесся было по собранию глухой ропот; но он тотчас замолк, когда пан Людвиг Жвирждовский попросил слова.

– Собрались здесь мы покуда люди свободные от всякого обязательства, кроме того, которое приносит с собою во всякое общество человек с гонором: хранить тайну, ему вверенную. Никто не имеет права налагать на кого-либо из членов наших других обязательств, пока он сам добровольно, по своим средствам и обстоятельствам, не наложит их на себя. Но, дав однажды установленную жондом клятву, он уже не свободен отступить; он уже невольник своей присяги. Решено ли?

– Решено, – отвечали все.

– Отступника от обязательства, на себя добровольно принятого, – продолжал Жвирждовский, – да покарают люди и Бог. Пускай от него отступятся, как от прокаженного, отец, мать, братья, сестры, все кровное, церковь и отчизна проклянут его, живой не найдет крова на земле, мертвый лишится честного погребения и дикие звери разнесут по трущобам его поганный труп.

– Да будет так; прекрасно, сильно сказано, – пронеслись по собранию горячие голоса.

– Амен, братья во Христе и святейшем отце нашем, папе, – послышался медоточивый голос ксендза Б.

– Нет, этого мало, – заревел хриплым голосом Волк, вскочив со своего места и проведя широкой пятерней своей дорожку по щетинистым, черным как смоль волосам.

Дикообразная физиономия его с выдающеюся вперед челюстью так и смахивала на рыло соименного ему зверя, глаза его горели бешеным исступлением и, казалось, просили крови. Таков должен был быть вид Каина, когда он заносил на брата свою палицу.

– Этого мало, – повторил он и бросился к стене, на которой висел кинжал. Он схватил его, вынул из ножен и, засучив рукав своего сюртука до локтя, как исполнитель *des hautes oeuvres*⁶ перед совершением казни, мощною рукой воткнул оружие в стол. Гибкая сталь задрожала и жалобно заныла.

– Пой, пой так свою заупокойную песнь, когда вонжу тебя в грудь изменника, – приговаривал Волк, сверкая пылающими глазами.

– Клянитесь паном Иезусом и Маткой Божьей на рукояти кинжала, расположенной крестом.

Ксендз пропустил мимо ушей этот святотатственный призыв и только улыбнулся.

– Подождите произносить клятву, паны добродзеи, не зная еще, какие обязательства на себя принимаете, – сказал Жвирждовский.

– Так, так, – провозгласили почти все единодушно.

– Гм! – крикнул только пузатенький господин, тревожно шевелясь на своем стуле, на который он сел верхом.

Жвирждовский сурово взглянул на него начальническим взглядом, от которого тот переместил свою позицию.

– Окончив эти preliminares статьи, – произнес опять размеренно пан Людвиг, – я должен сделать оговорку. Хотя мне большею частью известны планы и средства нашего высшего трибунала, я обязан до времени ограничиться представлением вам моего плана в кругу моих

⁶ *des hautes oeuvres* – высокое искусство (фр.)

действий, как воеводы могилевского. Опять повторяю, каждый может подвергнуть его критике, и я подчинюсь ей, если собрание найдет ваши замечания полезными для блага отчизны. Никто из вас не отвергнет, что если в начинании патриотического дела нужно страстное увлечение, то и не менее глубокая обдуманность нужна в начертании плана действий.

– Вы душой горячий патриот, по ремеслу воин, по науке великий стратегик – наш будущий Наполеон! – молвил кто-то из собрания.

– Ого-го! Как вы заставляете меня широко шагать, – отозвался могилевский воевода с самодовольной улыбкой.

– Все, что вы начертали в своей гениальной голове и потом изложили на бумаге, должны мы принять без рассуждений. На то вы воевода, а мы слуги, орудие вашей воли, – послышалась чья-то угодливая речь.

– Мы покуда здесь все равные члены, – отвечал Жвирждовский, – дело другое на поле битвы. Ум хорош, а два лучше, как говорят москали.

– А я не мужик-москаль, – образованный пан, замечу: *Du choc des opinions jaillit la vérité*,⁷ – сказал с выдавшимся брюшком господин.

– Пан очень любит эти безвредные *шоки*, – заметил один из офицеров, – посмотрим, так ли он будет действовать, когда раздадутся *les chocs des armes*.⁸

Стабровский пожал плечами.

– Нечего пожимать плечами, – вмешался неугомонный спорщик.

– Поневоле пожмешь, когда у нас время проходит в пустословии: дайте же говорить дело пану воеводе; этак мы никогда не покончим.

Суздилович открыл было рот, чтобы опять спорить, но сидевший подле него шепнул ему, что он воротится домой голодный, если будет продолжать спор, и тот замкнул уста.

– Соединимся же братски в патриотическом национальном гимне: «Боже цось Польске!» – воскликнул с одушевлением Жвирждовский.

– Боже цось Польске, – подхватил хор. Когда хор замолк, оратор продолжал:

– При этом торжественном клике, раздающемся от Вислы до Днепра, от Балтийского моря до Карпатских вершин, Польша, гремя цепями своими на весь мир, облеклась в глубокий траур. Схватив в одну руку меч, в другую крест, она не наденет цветного платья, пока этими орудиями не поборет своих притеснителей. И меч и крест сделают свое дело.

– Сделают, сделают, – повторили многие голоса.

– Со всех мест, где было ее исконное господство, сзывает она около себя верных сыновей своих. Поспешайте, друзья мои, на этот призыв. Вы, может быть, спросите меня, почему мы не воспользовались гибельным положением России во время крымской кампании? На это я скажу: мы и обстоятельства не были тогда готовы. Французы, англичане, итальянцы, наши верные союзники, занимались своим делом: им было не до нас. Теперь иное время. Благоприятные обстоятельства для нас созрели. В России совершилась эмансипация; она не удовлетворила хлопков и раздражила землевладельцев. Золотые грамоты загуляют по Волге, в местах, где были бунты Стеньки Разина и Пугачева. Все движется по направлению, данному нашими агентами. Наша интеллигенция занимает все надежные посты, из-за которых бросает свои разрушительные снаряды. В противном лагере дремлют или мечтают; мы работаем, нам помогают. Видите, время удобное.

– Берегитесь пробуждения, оно будет ужасно, – сказал Пржшедиловский, – по моему разумению – эмансипация крестьян, напротив, отвратила от России многие бедствия. Думаю, эта же эмансипация в западных и юго-западных губерниях нагонит черные тучи на дело польское и станет твердым оплотом тех, от кого они ее получили. Вина поляков в том, что паны

⁷ *Du choc des opinions jaillit la vérité* – в споре рождается истина (фр.)

⁸ *les chocs des armes* – бряцанье оружия; военное столкновение (фр.)

до сих пор помышляли только о себе, а хлопы считались у них быдлом. Силен и торжествует только тот народ, где человечество получило свои законные права.

– Вот вам и тринадцатый вещий ворон, – гневно подсказал Суздилович.

– Мы дадим народу еще более широкие права, – отозвался Жвирждовский.

– Пока все это обещания, исполнение уже опоздало; надо было думать об этом прежде, – возразил Пржшедиловский. – Правда, польские уроженцы заняли надежные места по всем ведомствам и действуют искусно, чтобы везде на русской земле возбудить смуты; учение польских наставников, козни польских эмиссаров, влияние польских администраторов посеяли гибельные семена; кровавая жатва всходит...

– Нечего жалеть кровь еретиков, – воскликнул ксендз Б.

– Пора перестать нам, подавно служителям алтаря Господня, в наш просвещенный век веру христианскую, какова бы она ни была, называть еретической потому, что она не наша.

– Наконец это дерзко. Видано ли, чтобы овца учила своего пастыря! Не думаете ли вы, пан философ Пржшедиловский, перейти в эту восточную схизму, проклятую нашим святейшим отцом? Ваша супруга и дети погрязли уже в ней.

– Моя жена русская и русского исповедания; по закону и дети мои должны быть такими. Что же касается до меня, то вы лучше других знаете, пан ксендз, какому исповеданию я принадлежу, потому что бываю у вас ежегодно на духу. Не для святейшего отца я это делаю, а потому, что родился, вырос и воспитывался в вере моих отцов. В этом исповедании и умру. Но мы отступили от главного предмета наших рассуждений и потому позволю себе спросить вас, пан Жвирждовский, какое войско выставит Польша, каких вождей она даст ему, где возьмет оружие?

– Время родит вождей, – отвечал воевода. – Наше войско многочисленно и одушевлено патриотизмом, но до времени притаилось по домам. Оно выступит из земли, когда мы кликнем ему клич, и удивит мир своим появлением. Покуда оно худо вооружено, худо обмундировано; но если нужно будет, косари наши, в белых сермягах, также сумеют резать головы москалей, как они привыкли косить траву. Мы видели, что во время французской революции нестройные сброды санкюлотов, босоногих воинов, побеждали регулярные армии.

– Босоножек этих водили генерал Бонапарт и полководцы, каких ныне уже нет.

– Наш главный вождь, Мерославский, хотя и не такой великий гений, но умный, храбрый воин, испытанный стратегик. Он не ударит лицом в грязь. Война, как я сказал, родит и других вождей. Что до моего воеводства, то я имею уже полковников из поляков, служивших в русских полках, надежных по своему патриотизму, уму, знанию военного дела. Ожидаю в большом числе и других из военных академий. Не стану исчислять вам имена тех, которые должны командовать отдельными отрядами. Для примера, однако, укажу вам на Ричарда Стабровского, брата нашего хозяина.

– О! на этого мы возлагаем большие надежды, – сказал один из офицеров.

– Этот далеко пойдет, – подхватили другие.

– В случае, если я буду ранен или убит, он заменит меня, – сказал Жвирждовский.

– Он заменит и Мерославского, – кричали исступленные поклонники прапорщика Ричарда Стабровского.

– Могу представить вам еще одного надежного полковника – здешнего хозяина. Ему поручается очень важный пост. Когда на всех пунктах восстания в Могилевской губернии отряды сделают свое дело, пан Владислав, пользуясь чрезвычайно лесистой и болотистой местностью, где будет до поры до времени скрываться, при появлении неприятеля вдруг выступит из этих лесов и болот и ударит во фланг его. Этот удар будет решительный. Мать пана, истинная патриотка, и друзья ее ручаются ему за две тысячи повстанцев, хорошо вооруженных, только на условии, чтобы старший сын ее командовал ими. Вы, конечно, догадываетесь, что нынешнюю революционную войну будем мы вести иначе, нежели предшествующую. Я назову ее войной

партизанской, гверильясов. Мы станем действовать отдельными отрядами в наших дремучих лесах, как будто нарочно сбереженных для подобного рода действий. Здесь каждому начальнику отряда предоставлена полная свобода, и потому нам генералы Бонапарты не нужны.

Заговорщики приветствовали хозяина с важным назначением. Владислав холодно принял поздравления.

– Кажется, русские начали рубить леса вдоль железных дорог, а другие, вековые, заказные и прежде двинулись из Литвы в Балтийское море, – насмешливо заметил кто-то.

– Еще будет с нас. Сражаясь на родной земле, дома, мы найдем на своей стороне важные преимущества. Каждая тропинка, каждый куст, овражек нам знакомы. Ныне ночуем насто-роже в непроходимом лесу, завтра пируем у брата нашего гостеприимного пана. Нырнем здесь, вынырнем за десять миль. Лазутчики, проводники, ксендзы, шляхта, пани и паненки – все помогает нам. Мы разрушаем железные дороги, перехватываем транспорты, батареи с ненадежным конвоем, опустошаем русские кассы, палим жатвы, амбары еретиков, нападаем на сонных солдат, сжигаем вместе с хатами, режем их. Оружие доставляют нам Чарторыжские и Замойские; монастыри мужские и женские будут тайными складами этого оружия; от польских комитетов в Париже и Лондоне получаем деньги.

– И от патриотов, живущих в России, – спешил словом своим дать перевести дух витии один из собрания, средних лет, довольно приятной наружности, мощно сложенный.

Это был Людвинович. Засунув руку в боковой карман фрака, он вынул оттуда пакет, раздувшийся от начинки его.

– На первый раз, пан воевода, кладу на алтарь отчизны две тысячи рублей, и если они будут благосклонно приняты...

– Еще бы! – радостно перебил Жвирждовский, принимая пакет и кладя его в боковой карман своего русского мундира.

– Завтра представлю вам еще десять тысяч и каждые четыре месяца столько же.

– Благодарю от лица всех наших братий и матки нашей, Польши, – молвил с чувством воевода, пожав в несколько приемов руку щедрого дателя.

– Виват, пан! Молодец, пан! – загремело в собрании.

– Немудрено, что пан так щедр, – ввернул тут свое замечание пузатенький господин, – он родился под счастливыми созвездиями Венеры и Меркурия: эмблемы понятны – любовь и торг. Он нашел неистощимый клад в сердце одной вдовы-купчихи, которой муж оставил огромное денежное состояние. Старушка от него без ума: что ни визит, то, думаю, тысяча.

– Все средства хороши, лишь бы достигали своей цели, – заметил ксендз, – кто рвет цветы в молодом цветнике, кто плоды в старом вертограде.

– Наши офяры по списку, который я держу, простираются уже до значительной суммы, – сказал один из членов собрания.

– Будьте осторожны с письменами, – внушил ему Жвирждовский.

– О! на этот счет можете быть спокойны; я пишу их разными гиероглифами.

– Хорошо бы было, если б вы доставили мне завтра же все собранные деньги. Спешу в Петербург для набора рекрут-офицеров, да особенно нужно мне переговорить с Огризкой. Вот этот гений по своей профессии, самого дьябла обманет, лишь бы не наткнулся на одного человечка. Идет шибко в гору... Да найдите верную персону, которая лично будет доставлять мне приношения.

– Я беру на себя эту обязанность, – сказал один из собрания, – кстати, у меня есть дела в присутственных местах Могилевской губернии.

Воевода благодарил.

– Виват наша интеллигенция! Она ручается нам за верную победу на всех путях наших. Вот наши скромные средства вести войну, пан Пржшедиловский, – прибавил иронически воевода, обратясь к тому, в ком он видел своего антагониста.

Пржшедиловский молчал.

– Досадно больно, однако ж, – сказал Людвикович, положивший важный куш на алтарь отчизны, – что наши же братья-поляки, узнав мою тайну, обнаруживают ее нескромными речами и расстраивают мои виды на богатую вдову. Уж и в Петербурге об ней узнали и возбудили некоторые, хотя и не опасные подозрения в таком месте, куда бы они не должны проникнуть. А я так было все хорошо устроил в доме Маврушкиной. Я у нее врачом, адвокат поляк, гувернер, учителя – тоже поляки. Недавно ввел я к ней досточтимого пана ксендза Б. И вдовушка и дети без ума от его вкрадчивых речей. Еще должен прибавить, что нескромность моих компатриотов вызвала наших эмиссаров к непрерывным требованиям от меня денег. Одни пишут прислать им столько-то, другие столько. Вот и вчера получил я письмо из Петербурга о высылке 25 пар сереньких перчаток.

– Что ж из этого? Перчатки не Бог знает что стоят.

– Как будто нельзя найти серых перчаток в Петербурге! Могли бы распечатать письмо; ловкий комментатор смекнет, что не перчатки требуются, а 25 пар пятидесятирублевых серых кредиток. Слава Богу, письмо осталось в девственной оболочке, потому что было адресовано на имя одной русской паненки.

– Которая, не так как вдовушка, довольствуется пока одною платонической любовью. Пан уже два года ведет ее к алтарю и никак не доведет до сих пор, – подхватил пузатенький господин.

– Ха, ха, ха! – засмеялся воевода. – С одной стороны, деньги, с другой – важные услуги. Браво!

Насмеявшись вдоволь со своими собеседниками этой проделке, он продолжал прерванную речь.

– И так, мы будем вести в начале кампании войну гверильсов. Мое воеводство доставит до 30 тысяч повстанцев; расчислите по этой мерке, что дадут все губернии от Немана до Днепра, по крайней мере 200. Присовокупите к ним войска Франции, Англии, Италии и Швеции. Я получил из Парижа известие, что Мак-Магону велено поставить четвертую колонну на военную ногу. На берег Курляндии высадится десант из Швеции с оружием и войском, предводимым русскими знаменитыми эмигрантами.

– Изменники своему отечеству не могут быть надежными союзниками, – заметил Пржшедиловский.

– Мы должны пользоваться всеми средствами, какие предлагают нам обстоятельства, – возразил Жвирждовский. – Когда подают утопающему руку спасения, он не разбирает, чиста ли она или замарана. Хороши ваши правила во время идиллий, а не революций. Я говорил вам до сих пор, многоуважаемые паны, о наших средствах, теперь изложу вам ход наших действий. Первыми застрельщиками в передовой нашей цепи выйдут ученики Горыгорецкого земледельческого института, основанного недогадливыми москалями на свою голову в сердце Белоруссии. Студент Висковский, наименованный мною начальником места, и фигурус Дымкевич не дремлют; гнездо заговорщиков там надежно свито. Они ждут только моего пароля.

– Как бы этот фигурус и студенты не остались на одних фигурах! – сказал Пржшедиловский.

– Они выкинут такие, от которых задрожит земля русская.

– Жаль мне бедных детей, отторгнутых от науки, отторгнутых от семейств, чтобы положить неразумную свою голову в первом неравном бою; жаль мне бедных матерей, которым придется оплакивать их раннюю утрату.

– Оплакивайте их сами, пан Пржшедиловский, если у вас слезы вода, – сказал ксендз. – Наши матери ведь польки; они сами с благословением посылают своих детей на бой с врагами отчизны и, если их сыновья падут за дело ее свободы, поют гимны благодарности Пресвятой Деве.

– Прошу внимания, паны добродзеи, – произнес особенно торжественно Жвирждовский. – Пан ксендзу которого имеем счастье видеть между нами, самоотверженно покидает свою богатую паству в Москве и переселяется в лесную глушь Рогачевского уезда, в один из беднейших костелов губернии. Там его влияние будет полезнее, нежели здесь. Он стоит целого корпуса повстанцев. Его ум, его образованность, его увлекательное красноречие привлекут к нему все наше шляхетство и народ. Паны и паненки уже без ума от одной вести, что он к ним прибудет, и заранее готовятся усыпать его путь цветами и приношениями.

– Благодарим, благодарим, – закричали голоса.

– Великий миссионер нашей свободы!

– Да будет похвален пан ксендз в сем мире и в другом.

– Да воссядет на бискупскую кафедру в польском крулевстве!

Ксендз встал, приложил руку к сердцу и, поклонившись собранию, произнес с чувством:

– Сделаю все, сыны мои, что повелевает мне отчизна и церковь наша.

– Теперь, – сказал Жвирждовский, – приступим к плану наших действий в обширных размерах. Нынешняя осень и будущая зима пройдут в приготовлениях к организации наших войск. Лучше тише, да вернее. С первым весенним лучем иноземная помощь прибывает с двух сторон – с одной чрез Галицию, с другой, как я сказал, десантом от берегов Балтийского моря. Русские войска достаточно подготовлены пропагандой и деморализованы, чтобы с прибытием союзников не желать долго упорствовать в удержании поголовно восставшей Польши. В это время Литва, в полном восстании, очищается от русских. Гвардии опасаться нечего: в рядах ее имеются друзья.^[5]

– Не ошибитесь, – перебил оратора Пржшедиловский, – два-три офицера из поляков не составляют еще целого корпуса. Русская гвардия всегда отличалась преданностью своему государю и отечеству.

– Смешно! Сидя в своем темном уголке над канцелярскими бумагами, вы, кажется, хотите знать, что делается в политическом мире, лучше меня. Недаром вращаюсь я в тайных и открытых высших сферах.

– Кажется, пан Пржшедиловский *est plus moscovite que les moscovites eux-mêmes*,⁹ – заметил, сардонически усмехаясь, ксендз Б.

– Замолчите же, ревностный пасынок России, – закричали голоса.

Пржшедиловский презрительно посмотрел на своих антагонистов.

– Я обстрелен пулями и ядрами, – сказал воевода, – так мне ли смущаться огнем холостых выстрелов! Кончаю. Отряды Сераковского со всех сторон подступают и берут Вильно. Относительно моего Могилевского воеводства: должно сперва временно отбросить – говорю: временно – малонадежные уезды: Гомельский, Климовский и Мстиславский, где, кажется, родился пан, мой оппонент.

– Точно так, – отозвался Пржшедиловский, – вы знали хорошо моего отца и мать.

– Они оказали мне некоторые услуги во время моего сиротства, – сказал покраснев Жвирждовский, – и если бы я их забыл, то давно не позволил бы вам говорить так самонадеянно.

Пржшедиловский взглянул вопросительно на хозяина.

– Позволить или не позволить никто здесь не имеет права, – гневно возвысил голос Стабровский, – у меня в доме пока нет особенного начальства; все мои гости равные и свободные от всякой диктатуры. Говорить и возражать имеет право всякий, кого имею честь видеть у себя. Вы сами это давеча объявили, пан Жвирждовский.

Стабровский, по отношениям Жвирждовского к брату, к матери и своему твердому характеру, не был такое лицо, которое можно было безнаказанно восстанавливать против себя, и

⁹ *est plus moscovite que les moscovites eux-mêmes* – более москвит, чем сами москвиты (фр.)

потому будущий воевода, проглотив горькую пилюлю, просил у него извинения за слова, сказанные в патриотическом увлечении. Наконец, он приступил к финалу своей заученной речи, сначала несколько тревожным голосом, потом все более и более воодушевляясь:

– Прочие уезды поднимаются с помощью быстро сформированных жондов на берегах Днепра. Тогда, подчинив решительно своей власти все воеводство, устремляемся в Рославский уезд Смоленской губернии. При общем настроении умов в России, обработанных польской пропагандой в учебных заведениях, тайною, зажигательною литературой и прочее и прочее, с появлением повстанцев на Днепре мы, несомненно, тотчас присоединяем губернии: Смоленскую, Московскую и Тверскую и беспрепятственно доходим до Волги. Там, на правом берегу, водружаем наше польское знамя. В этом я ручаюсь вам гонором своим и головой. Разумеется, мы будем только авангардом великой армии союзников. Таким образом, являсь в начале апреля на берегу Днепра, мы избежим ошибки Наполеона, погубившей его в двенадцатом году. Он привел только к осени в Москву войско, утомленное сражениями и походами. Ему лишь стоило остановиться на зимних квартирах в западных губерниях и, подобно нам, двинуться уже следующей весной во внутренность России.

– Умно, гениально задуманное дело, – закричали офицеры. – Виват, пан Жвирждовский!

– Ваше имя не умрет в потомстве, пан воевода, – прибавил кто-то.

Пржшедиловский молчал, потому что на такую заносчивую, шарлатанскую речь нечего было возражать.

– Выгоднее было бы спуститься по Днепру в Киев, – сказал пан Суздилович, шевеля усами, – и там подписать приговор России.

– Нет, нет, – закричали некоторые из заговорщиков.

– Позвольте объяснить, – просил Суздилович, задыхаясь.

– Нет, нет, – кричали еще громче несогласные с его мнением.

– Позвольте.

– Не позволяем.

Шум возрастал, так что пан в колтуне, продремавший большую часть заседания, проснулся и со страхом озирался.

– На голоса, паны, – сказал Стабровский.

Согласились.

Голоса все были в стороне воеводы.

– Остается нам узнать от вас, панове, – спросил Жвирждовский, – какие обязательства вы на себя принимаете?

– Я не могу отлучиться от своей должности, ни от особы, которая так щедро доставляет мне средства поддерживать польское дело, – сказал опекун богатой вдовушки.

– Добрже, пан.

– Я также собираю здесь офяры и обязан доставлять вам их лично, как мы условились, – отозвался другой.

– Согласен.

– Я учитель, – сказал третий, – и мое дело обрабатывать здешнее юношество.

– И то очень, очень полезно для нас.

– Вы, пан? – громко спросил воевода помещика в колтуне, опять задремавшего.

Тот протер себе глаза и отвечал:

– Я уж вам сказал, что снаряжаю сто повстанцев, одеваю и содержу на свой счет.

– Прекрасно!

Офицеры вызвались явиться по первому призыву в отряд Владислава Стабровского, которому, как военные могли быть полезны в организации повстанцев.

Студенты объявили то же.

Одобрено.

– Я жертвую на первый раз пять тысяч... – успел только произнести пузатенький господин.

– Рублей серебром, – подхватил один из студентов.

– Злотых, – сердито договорил Суздилович. – Если бы вы не перебили меня, я сказал бы рублей.

– Вы богаты, пан, – заметил Жвирждовский, – могли бы больше...

– Обязываюсь вносить ежегодно столько же в кассу жонда, пока продолжится война.

– Пан надеется на троянскую войну, – заметил студент.

И все засмеялись.

Задетый этим смехом за живое, Суздилович самоотверженно объявил, что он обязывается сверх того проливать кровь свою за отчизну в отряде Владислава Стабровского.

– В некотором роде, – прибавил Пржшедиловский, хорошо знакомый с русской литературой.

– Я буду работать этим кинжалом в отряде пана Владислава, если он пожертвует его мне, – зыкнул Волк, – и не положу охулки на руку.

– Вам давно нравится этот кинжал, – сказал Стабровский, – хотя это подарок матери, он не может перейти в лучшие руки, чем в ваши.

Волк обнял Владислава. Лишь только бросился он к кинжалу и задел этим движением стол, гибкая сталь еще жалобнее прежнего заныла. Вынув мускулистой рукой глубоко засевший клинок, он поцеловал его.

– А вы, пан Пржшедиловский? – спросил воевода.

– Безрассудно было бы мне покинуть на произвол судьбы жену и двух малолетних детей; не могу жертвовать и деньгами, потому что я беден и только своими трудами содержу семейство свое.

– Но вы можете быть полезны, распространяя в обществах и между своими сослуживцами вести, благоприятные для польского дела, подслушивая, что говорят между ними опасного для этого дела, и нас уведомляя.

– Разве для того пан примет эту обязанность, чтобы вредить нам, – отозвался кто-то.

– Вот видите, – сказал Пржшедиловский, – и я на низкую роль шпиона не гожусь, а потому здесь лишний и удаляюсь.

– Лучше искренний враг, чем двусмысленный друг, – проворчал воевода.

– Ни тот ни другой, – холодно отозвался Пржшедиловский.

Он успел только проговорить, как вбежал в кабинет Кирилл и доложил своему господину, что к хозяйке приходил квартальный и спрашивал ее, почему у пана такое большое собрание поляков.

При этом известии у многих вытянулись лица; Суздилович собирался уже утечь в спальню хозяина.

– Не тревожьтесь, – сказал Владислав спокойным голосом, – я уж научил панну Шустерваген объявить любопытным, что мы провожаем русских офицеров в Петербург. Впрочем, хозяйка умеет ладить со здешними аргусами.

Все успокоились.

Пржшедиловский взял шляпу и, отведя Владислава в сторону, тихо сказал ему:

– Прощай, друг, я не останусь у тебя завтракать. Боюсь, чтобы твои гости, упоенные добрым вином и торжество будущих своих побед не вздумали оскорблять меня за то, что я не согласен с их шарлатанством. Меня дома ждут жена и дети, и я в кругу их отдохну от всего, что здесь слышал и видел.

Владислав не настаивал, но вызвался проводить друга своего в коридор.

Здесь они остановились. Пржшедиловский крепко пожал ему руку и, видимо, тронутый, сказал, покачивая головой:

– Et toi, Brutus?¹⁰ И в этом сумасбродном обществе?..

– Разве я не вижу, что они безумствуют, что все их планы не более, как мираж? Но я решил покончить так или сяк со своей судьбой. Для меня все равно, погибнуть ли в обществе рассудительных людей или безумцев.

– А Елизабета? Я надеялся, что ты будешь с нею счастлив по-моему.

– Не мне суждено это счастье. Она отвергла мою любовь; у нее есть жених. Я зол на нее, зол на отца ее, на всех русских. Польское имя здесь в презрении.

– Безрассудный!

– Все кончено. Прощай, друг, мы, может быть, больше не увидимся.

Слезы навернулись на глаза обоих. Они горячо обнялись и расстались.

– Слава Богу, тринадцатый выбыл из нашего общества, – сказал Суздилович, – за столом этого рокового числа не будет.

– Ну его к диавлам! – сердито прибавил Жвирждовский.

Клятва, установленная высшим трибуналом жонда, была произнесена членами общества, принявшими на себя, каждый по средствам своим, обязанности служить делу отчизны.

– Теперь, панове, мы сыты по горло духовными требами, примемся здесь за утоление голодных телес наших, – провозгласил хозяин.

Суздилович, любивший хорошо покушать, от радости то потирал себе руки, то похлопывал себя по пустому брюшку.

Спешили с завтраком. К трем часам стол был сервирован, блюда подавались избранные, вино лилось в изобилии, Кирилл и три хорошенькие девушки прислуживали за столом не хуже татар Дюссо. Было много тостов на французском языке, непонятном прислуге. Пили дружно за свободу отчизны, великих союзников, за Чарторижского, Мерославского, Сераковского, воеводу могилевского, хозяина, отсутствующих пулковников, был тост в честь польского знамени, водруженного на правом берегу Волги. Особенно воевода и ксендз соперничали друг перед другом в осушении бокалов. Владислав по временам задумывался, но старался залить вином огонь, его пожиравший.

Все гости уже встали из-за стола, отяжелевшие от изобилия вин и яств, они посели и легли в разных позах на диванах, кушетках и креслах, кто дремля, кто болтая всякий вздор, кто закулив сигару.

Исчезли следы завтрака, женская прислуга была отпущена, оставался один Кирилл за своей перегородкой, отправлявший в свой желудок остатки кушаньев.

Послышался звонок, и вслед за его дребезжащим звоном влетела в кабинет, шурша своим длинным шелковым шлейфом, молодая дама, блистая красотой, парю обворожительных глаз и алмазами, сверкавшими на ее груди и в ушах. Она была в трауре, скрашенном некоторыми туалетными принадлежностями национального цвета. При появлении ее все спешили опраться и встать со своих мест.

– Виват, панна N. N! – громогласно раздалось по комнате.

– Шт, – прошептала она, положив палец на свои розовые, соблазнительные губки, потом прибавила очаровательным голосом. – Я знала от пана Жвирждовского, что вы собираетесь здесь для великого дела Польши. Простите великодушно, что не могла быть с вами вовремя, занята была по этому же делу. Уверена, что вы все исполнили свой долг. Я приехала к вам на несколько минут, чтобы положить и мою офяру на алтарь отчизны.

Она развернула большой сверток, который держала в руке. Это было знамя с богатыми золотыми украшениями и изображением на нем одноглавого белого орла, державшего в своих

¹⁰ Et toi, Brutus? – И ты, Брут? (*лат.*) По легенде, последние слова Юлия Цезаря, обращенные к его убийце – Марку Юнию Бруту.

когтях черного двуглавого. Сверху была надпись: «*Za niepodległość ojczyzny*»¹¹, а над ней Пресвятая Дева в сопровождении папы, благословляющие коленопреклоненных перед ними воинов в старопольском вооружении.

– Я приношу это знамя легиону могилевского воеводы Топора (пана Жвирждовского), – сказала красавица, – вы знаете, что я после смерти мужа до сих пор отказывала в руке моей всем ее искателям. Тот, кто водрузит это знамя на куполе смоленского собора, хоть бы он был не лучше черта, получит с этой рукой мое богатство и сердце. Клянусь в том всеми небесными и адскими силами.

– Виват, панна N. N! – закричали восторженные голоса.

– Нас принесут мертвыми к вашим ногам на этом знамени, – сказал Жвирждовский, – или с этим знаменем в руке, но только с прибавкой на нем новой надписи: «развевался на главе Ивана Великого».

– Клянемся, клянемся! – подхватили другие.

– Теперь, пан Стабровский, мне бокал шампанского за успех нашего общего дела и за здоровье присутствующих и отсутствующих освободителей Польши.

На поверхности бокала, стремительно налитого усердной рукой, образовалась пенистая коронка, метавшая от себя искорки. Жвирждовский подал ей на маленьком серебряном подносе, преклонив перед ней, как рыцарь перед дамой своего сердца, одно колено. Обведя бокалом все собрание, она молодцевато осушила его.

– Теперь за здоровье панны, перед которой вся Польша должна преклонить колени; только не из бокала, а из ее башмачка! – воскликнул Жвирждовский.

Красавица ловко скинула башмак с крошечной своей ножки и передала его воеводе. Шампанское было в него налито, и пошла круговая ходить при оглушительных виватах.

Когда панна надевала башмак на ногу, кто-то заметил, что она может простудиться.

– Женщины, в которых течет польская кровь, не простуживаются, когда сердце их согрето патриотизмом друзей, – отвечала панна, и распростилась со своими восторженными поклонниками. – Не могу дольше оставаться с вами, – прибавила она, – дала слово быть в этот час в одном месте, где должна поневоле кружить головы москалям.

«Я знаю одну подобную ножку у русской красавицы, – подумал Владислав, настроенный вином и прошедшей сценой к чувственным впечатлениям. – О! эту ножку я обсушил бы своими поцелуями!»

К шести часам вечера заговорщики разошлись все по домам, иные спеша уехать по своему назначению, другие желая поспеть к отъезду Жвирждовского со своими услугами.

¹¹ *Za niepodległość ojczyzny* – За независимость отечества (польск.)

V

Сурмин, посещая по временам Ранеевых, выигрывал все более и более в сердце старика. Михайло Аполлоныч угадывал, что Лиза сделала на него сильное впечатление, и почел бы себя счастливым, если бы мог назвать его членом своего семейства. Лиза находила удовольствие в его обществе, в его беседах, нередко спорила с ним, радовалась, когда успевала над ним торжествовать, находила его добрым, умным, любезным, достойным составить счастье девушки, с которой соединил бы он свою судьбу. Но, к отчаянию своему, влюбленный молодой человек в ее речах и обращении с ним не находил до сих пор того, что можно было бы признать за чувство, которого добивался. Кокетства, желания завлечь его сильнее в свои сети он также не находил даже малейших следов.

У Ранеевых он познакомился с новой интересной личностью, Антониной Павловной Лориной. Это была сестра хозяина дома, в котором они квартировали, и самая задушевная подруга Лизы. Тони передавала она свои радости и печали, свои тайны, кроме одной, которую поверила только Богу. Чтобы короче познакомить читателя с этим новым лицом, я должен отступить от начатого рассказа.

Павел Иванович Лорин, уйдя с военной службы гвардейским капитаном, был избран в губернии, где имел прежнее поместье, совестным судьей и в этой должности приобрел себе доброе имя. Пробыв в ней два трехлетия, он распростился с нею и губернией и переселился в Москву, где его жена по случаю купила на свои деньги и имя небольшой дом на Пресне. По приезде сюда у них были три сына и три дочери, от четырех до пятнадцати лет. Здесь поручили старших воспитанию русской гувернантки, девицы Фундукиной, вышедшей из казенного заведения кандидаткой 1-го разряда. И недаром досталась ей пальма первенства. Она отлично знала языки: французский и немецкий, была непогрешима и против грамматического кодекса русского; помимо этих знаний владела некоторыми искусствами – хорошо рисовала, изучила музыкальную школу и была истинною художницей в каллиграфии. Все, что знала, она умела и передать своим ученикам и ученицам. Прибавьте к этим достоинствам доброе обращение с ними, заботы о здоровье матери и детей, и вы согласитесь, что такая воспитательница была истинным кладом для Лориных. За то и платили они ей полным доверием, теплою благодарностью и любовью.

Скоро, по болезни Лориной, Фундукина приняла в свои руки и бразды домашнего хозяйства. И тут у нее все спорилось, удивлялись только, как ее хватало на такие разнородные занятия. Благотетельное ее господство, которое она старалась скрасить вкрадчивыми услугами чете и добрым обращением с прислугой, простиралось на все, ее окружавшее. Пользуясь привязанностью к ней госпожи Лориной и некоторыми признаками минутного увлечения мужа, она стала забрасывать в его душу разные зажигательные вещества, на которые кокетки так изобретательны. Назвать ее хорошенькой нельзя было, но, с одной стороны, молодость (ей было с небольшим двадцать лет), свежесть, румяные щечки, из которых кровь, казалось, готова была брызнуть, девственные формы, искусная работа сереньких глаз, то бросающих мимоходом на свою жертву меткие стрелы, то покоящихся на ней в забытии сладострастной неги; с другой же стороны жена, давно больная от испуга после родов во время пожара, – все это приготовило капитана к падению. Лорина, ослепленная новыми, усиленными заботами о ней Фундукиной, ничего не подозревала. Не скрылась эта связь от прислуги, даже дети смутно понимали ее. Нашелся, однако ж, усердный член дворового штата женского пола, который потрудился открыть глаза своей госпоже. Удар был силен, но несчастная женщина ни одним словом, ни одним знаком не обнаружила мужу и гувернантке, что знает роковую тайну. Между тем она с каждым днем гасла все более и более и, наконец, совсем угасла, как огонь в лампаде, который перестал питать поддерживающий его елей. Дети оплакали ее горячими слезами, плакал

муж, но кто видел, как он в эти горячие минуты охорашивался в зеркале, как будто говоря: «Хоть куда еще молодец!» – мог догадаться, что они не текли из глубины души. Поплакала притворно и гувернантка, мысленно предвидя приятную развязку этой драмы. Развязка эта не заставила себя долго ждать. Через три-четыре месяца Лорин повел свою бывшую тайную подругу к венцу. Скоро новая madame Лорина, как артистка, искусно разыгравшая свою роль и сошедшая со сценических подмостков, явилась перед семейством мужа и домочадцами в безыскусственном виде. Здесь она не имела более нужды скрывать свои природные качества. Все вокруг нее почувствовали, что жезл, которым она прежде так легко и благотворно правила, вдруг чувствительно отяжелел. Если он обвивался иногда цветочною вязью, так только для Павла Иваныча, и то в часы, когда нужно было выманить у него подарок, выходящий из ряда обыкновенных. У него, как мы уже сказали, было хорошенькое поместье в губернии, где он прежде служил. Боясь, чтобы оно после смерти настоящего владельца не перешло к его законным наследникам по частям, а ей пришлось бы только ничтожная доля, она сочла за благо воспользоваться им без раздела и потому уговорила мужа продать его. Полученные за имение деньги перешли на ее имя билетами опекунского совета. Прочее движимое имущество завещано ей законным актом. Корыстолюбие ее не знало границ и проявлялось даже в мелочах. С годами у нее появились свои дети; тех же, которые были от первой жены, она держала в загоне. Их поместили отдельно в небольшие комнаты мезонина, худо отапливаемые, иногда через день, через два, так как Лорина находила, что все тепло снизу уходит к ним наверх. Обращение с ними было не только холодное, но и суровое. Если они и устаивались ее лицемерия, так для того только, чтобы приветствовать отца и мачеху с добрым утром и пожелать им на сон грядущий спокойной ночи, да приложиться к их ручке. Не обходилось, однако, при этих торжественных приемах, чтобы она не бранила кого-нибудь из пасынков или падчериц. Больше всех доставалось Тони, которую она особенно не любила за то, что обидчивая девочка не всегда подчинялась ее деспотизму.

– *Ce petit lutin me fouette toujours le sang*,¹² – говорила она мужу и посторонним.

Дети от первого брака не обедали с ней и отцом за общим столом; кушанья, и те в обрыз, подавали в их отделение, как подачку со стола господ. Сама чета с новым выводком комфортабельно жила в бельэтаже. Но и между детьми своими, которых через несколько лет насчитывала также до шести, госпожа Лорина имела двух любимцев-баловней – старшую дочь и старшего сына, остальных она не жаловала. Особенно не терпела одного, Петю, *последыша*, как говорят у нас в народе, обыкновенно больше других любимого отцом и матерью, бабушкой и дедушкой. Этого худенького, слабого ребенка она беспрестанно преследовала своими гневными придирами, бранью и даже побоями. Встал не так, взглянул не так, – и тяжелая рука ее падала на худые щечки, на голову малютки. Это была какая-то непонятная ненависть к нему, не смягчаемая ни его покорностью, ни видом болезненного состояния. Бедное, загнанное, забитое дитя дрожало от одного ее появления, от одного взгляда. Только в защите отца, вспыхивавшей в редкие минуты самостоятельности, в горячих ласках, украдкой расточаемых, на груди его находил Петя кое-какие жизненные силы. Так, хрупкая былинка, едва держась в земле иссыхающим корешком сохраняется еще нежными заботами садовника.

Между тем проходили годы, время облетало подлунную или подсолнечную, как хотите, и вычеркивало миллионы из списка живущих на ней, от царя до поденщика, великих и малых. В числе последних пришла очередь и Павлу Иванычу. Пожил довольно на свете, исполнил верно завет, данный Предвечным начинателю человеческого рода, народил двенадцать детей, не считая умерших, – чего же больше? Не велика потеря для мира, невелика и для семьи, кроме одного бедного мальчика Пети, без него осиротевшего. Похороны были скромно справлены, с одним священником и его причтом, без балдахина с рыцарским плюмажем, без коней

¹² *Ce petit lutin me fouette toujours le sang* – этот шалун бьет меня до крови (фр.)

в черных пополах, без факелов, которых зловещий огонь, красноватый среди белого дня, с их смолистым куревом, так жутко бросается в глаза прохожих. Да из чего было делать эту дорожную процессию неутешной вдове, оставшейся с многочисленным семейством, по слухам, ею распущенным, совершенно неимущей? Шествие к кладбищу было поразительно грустным. За гробом, в совершенном изнеможении она шла, поддерживаемая за обе руки своими родными. Вслед за ней плелись двенадцать человек детей от двух многоплодных браков, разных возрастов. Старшая дочь от первого брачного союза удушливо кашляла; злая чахотка от простуды в сырой, холодной спальне, не облегченная в своем начале никакими врачебными пособиями, пустила глубокие корни в ее груди. Она это знала и давно покорила воле Божьей, утешая себя только тем, что жизнь ее продлится недолго; Петю нес на руках своих дворник Лориных отставной семидесятилетний солдат как лунь белый, но еще крепкий старик, в порыжем мундире, украшенном медалями 12-го года и за взятие Парижа и анненским солдатским крестом. Черные глазки малютки, горевшие болезненным огнем, выскакивали из шафранного личика и приковались к труп покойника. Он тянул свои исхудалые ручки к гробу и жалобно причитал: «Возьми меня, папаша, с собой». Священник и причт, привыкшие к похоронным сценам, смотря на этого бедного ребенка, слыша его стенания, не могли удержать слез своих. Долго еще после того рассказывали они своим прихожанам, какое грустное чувство оставили в них похороны Лорина. Прошло шесть недель, и многочисленное его семейство стало редеть в доме на Пресне, как стая голубей, распуганная налетом коршуна. Сама Лорина со старшим сыном и старшей дочерью выехала из дому, который по наследству принадлежал детям от первой жены, и переехала в наемную квартиру. При этом переезде она захватила с собой из движимости все, что могло иметь какую-нибудь цену, от серебряной ложки до глиняной плошки и обручей со старых бочонков. На новом месте, отслужив молебен, она стала поживать в полном довольстве. Старшую падчерицу снесли скоро на кладбище, где безмятежно почивал прах ее отца. Петю снес в воспитательный дом все тот же семидесятилетний дворник. Сестры и братья его, от которых он был так безжалостно отторгнут его родной матерью, простились с ним со слезами, иные с рыданиями. Когда его вынесли за ворота, инвалид велел ему перекреститься. Исполнив это, он еще долго оборачивался на свое гнездо и родных, стоявших у ворот и благословлявших его. Когда же потерял их из виду, «вздыхнул, так тяжко вздохнул, – говорил после инвалид, – словно кто меня в грудь ножом пырнул».

Недолго промаялся Петя в своем новом приюте, где увидел незнакомые лица, может быть неприветливые, напоминавшие ему суровую мать. Тоска по родным и болезнь свалили его. Он отдал Богу душу и последнее свое прощальное слово старшему брату и Тони, приехавшим навестить его и усладить, чем могли, его участь.

Четырнадцатилетнюю Тони взяла к себе старушка, аристократка, узнавшая о бедном положении многочисленного семейства Лориных, и увезла ее с собой в Петербург. Она дала слово заменить ей мать и тем охотнее исполнила это слово, что скоро полюбила свою названную дочь за ее прекрасные душевные качества.

Одну из собственных дочерей, пятилетнюю, Лорина поместила в малолетнее отделение воспитательного дома, что на Гороховом поле, другую, постарше, в Николаевский институт, собственного сына отдала в гимназию на казенный счет, другой, от первого брака, поступил юнкером в пехотный полк. Оставались в доме матери трое из детей от первого брака. Один, старший, Иван, по окончании курса в университете, служил столоначальником в каком-то судебном месте и адвокатствовал по делам, которые не производились в месте его служения. О нем скажем только, что он был неглуп, точен в исполнении своих служебных обязанностей и во всех своих делах, добрый брат. Другой, несколько моложе его, Павел, кончивший курс в гимназии, служил помощником столоначальника в том же суде; здесь не могли нахвалиться его деятельностью. Знакомлю с ним читателя только на шапочный поклон. При них оставалась сестра, лет пятнадцати, Даша. Года через два по освобождении своем от ига мачехи она сдела-

лась помощницей своих братьев по служебным обязанностям. Из-за маленького роста ее, Тони прозвала ее *Крошкой Доррит* (*главное лицо в романе этого названия Диккенса*). Так разместились все члены многочисленного семейства волею Провидения и дипломатическими заботами госпожи Лориной. И заслужила же она себе в свете славу хорошей матери и примерной мачехи. Прибавить надо: лучшую, существенную ей наградой, как искусной актрисе на мирской сцене, был порядочный капиталец, оставленный ей мужем и обеспечивший ее на всю жизнь. Присоедините к этому небольшую сумму, завещанную ее любимой дочери богатым старичком, державшим у купели на своих руках эту дочку и к которому она умела подделаться, развлекая его по целым часам игрою в *дурачки*. Возвратимся к Даше, или Крошке Доррит, как называла ее сестра. Характеристики ее нужно мне дополнить по особенной симпатии к ней. Даша была маленькое, крошечное созданище. Какого роста сложилась она в 14 лет, такую и осталась навсегда. Между тем во всех частях ее фигурки и в целом Не было ничего уродливого; все в ней гармонировало одно с другим. Миловидное, умное личико с правильными по величине ее чертами, с глазками, блестящими как два черных граната, обведенными черными бровками, было особенно привлекательно добродушием, на нем выступавшем. Смотри на нее, вы сказали бы, что это – доброе дитя, неспособное никогда сердиться. И в самом деле никто в доме не слышал, не видел ее гнева. Только услугами своими, ласками, утешениями давала она знать о себе в своем семействе. Когда в этих услугах и утешениях не нуждались, ее не было слышно, как будто она и не существовала в доме. Бывали, однако ж, у нее вспышки необыкновенной настойчивости, вследствие каких-нибудь твердых убеждений, и тогда ничто не могло сбить ее с этих убеждений. Оставшись жить с двумя братьями, Даша видела, что эти бедные труженики приносили с собой из суда целые кипы бумаг и, заснувши часок после обеда, принимались писать и писать целые ночи напролет. Ей стало жаль их. Фундукина передала ей вполне, как ни одной из сестер, свой каллиграфический талант; Даша задумала воспользоваться им, чтобы помочь братьям в их трудах. Задумано и исполнено: она стала переписывать не только канцелярские деловые бумаги, но и прошения, даже на высочайшее имя таким мастерским, четким почерком, что надо было любоваться, как она своею маленькой ручкой проворно низала строки, будто нити крупного жемчуга. Вдобавок сам Греч не мог бы найти в этих строках грамматической ошибки – достоинство, которое редко встречается и у хороших канцелярских писцов. Слава Даши Лориной, как отличного каллиграфа росла понемногу. К ней чаще и чаще стали обращаться просители, труды ее вознаграждались гонорарами, достававшим не только на ее скромный туалет, но и на некоторые домашние нужды ее маленького семейства. Богатые, особенно купцы, за переписку прошений на высочайшее имя щедро платили ей. Завоевав себе славу хорошего переписчика, Даша, подстрекаемая самолюбием, захотела сочинять деловые бумаги. С навыком к ним, природным умом и смысленностью, приученная братом отыскивать в разных уложениях приличные к делу законы, она вышла из этой школы маленьким чудом-адвокатом. Первые опыты были одобрены братом, вторые оказались еще удачнее и так далее и далее. Разумеется, просители в этой крошке-девочке не подозревали своего настоящего адвоката, скрытого за именем брата, но большею частью изъявляли желание, как непрерывное условие, чтобы бумаги их были переписаны *легкой*, золотой ручкой барышни, потому что ручка эта, как гласила молва, приносила счастье. И все это делала Даша без всякого учения об эмансипации женщин, коммунистических и социалистических доктрин, о которых она не имела и понятия.

Русская Крошка Доррит была особенно дружна с меньшим из двух братьев своих, с которыми жила. По привязанности их друг к другу, по одинаковым склонностям, смирению и доброте души, они, казалось, родились двойниками. С малолетства предались они глубокому религиозному направлению. Духовная ли натура их была так создана, настроили ли ее беседы старой набожной няни о великих христианских сподвижниках и рассказы о страданиях матери их, которая, как святая, несла свой крест, чтение ли духовных книг и церковное служе-

ние укрепили их в этом благочестивом направлении, – так или иначе, Даша и Павел с годами почувствовали, что теплая молитва к Богу – высшая отрада человека. Они не пропускали ни одной ранней обедни. К поздней, особенно в праздники, они не любили ходить, избегая многолюдства, которое пугало и смущало их робкие души. Зато в эти дни они усердно молились дома, оградив себя от посторонних глаз в комнате, менее других посещаемой. При этом они произносили или пели молитвы, установленные церковным богослужением. И как стройно, умирительно пели они – брат своим чистым баритоном, сестра своим сладким голоском. В праздное от занятий время они читали духовные книги и беседовали о том, что прочли. Случалось, что, прекратив чтение, сидя рядом в широком отцовском кресле, они, обнявшись, засыпали. Смотря на их улыбающиеся во сне лица, можно было догадаться, что им видятся светлые видения. В их религиозном настроении не было, однако ж, никакого ханжества. Ни про кого во всю жизнь они не сказали злого слова, никого не осудили, что считали большим грехом, тем более береглись даже намекнуть что-нибудь в осуждение мачехи. Напротив, отзывались о ней с благодарностью за то, что давши им воспитание, она дала и средства доставать себе насущный хлеб. Павел был нехорош собой, но его наружные недостатки скрашивали какое-то благодушие, какая-то девственная чистота, разливавшаяся на его лице. Он избегал общества, особенно молодых людей, прельщавших его разными соблазнами; при встрече с красивой женщиной всегда потуплял глаза и краснел, когда она с ним заговаривала. Канцелярия и церковь были единственными местами, ими посещаемыми. И поплыли они, сплетясь руками и душой, на утлом челне своем по мятежным водам жизни к пристани, где нет болезни и печали.

Через четыре года присоединилась к ним и Тони. Эти годы, проведенные ею в Петербурге, у ее благодетельницы, госпожи Z, мелькнули перед ней, как прекрасное, волшебное видение. Из маленьких, серых с оборванными обоями комнат, где ее радовал бедный кустик фуксий и будила кукушка, высовывая свою плешивую головку из облупленной часовой будки, она перенесена в палаты. Здесь все сияет: и стены под мрамор, и бронза в изобилии, и паркеты, и зеркала, отражающие ее хорошенькую фигурку; здесь она гуляет, как в тропическом саду и часы с мифологическими кариатидами играют ей мелодичные куранты. Вместо сурового лица мачехи, ее крикливого голоса, она видит добродушное, приятное лицо старушки, своей благодетельницы, слышит ее ласковую, тихую речь, которая так отрадно веет на душу. По временам подслеповатые глаза устремлены на нее с любовью, морщинистая рука заглаживает ее густые, пепельного цвета волосы, разметавшиеся от беганья, треплет ее разгоревшиеся щеки. Бедные клавикорды, которых непокорные, помертвевшие клавиши мучили ее до слез, заступил Эраров рояль, издающий под ее пальчиками послушные им гармонические звуки. Старушка, угав в ней музыкальный талант, для усовершенствования в нем, пригласила лучших учителей давать ей уроки музыки и пения. У госпожи Z была избранная библиотека. По назначению ее являлись к ним знаменитости русской и иностранной литературы. Русской? – спросите вы, мой недоверчивый читатель. Да, русской, потому что она не походила на других аристократок, которым имя отечественного писателя так же чуждо, как бы имя арабского, которые, к стыду своему, не умеют не только правильно писать, но и говорить на своем родном языке. Ее воспитание было направлено ее отцом, одним из генералов 12-го года, горячим патриотом; она была знакома с Жуковским, когда служила фрейлиной при дворе и чтицей одной из высоких особ, и потому успела полюбить и отечественную литературу, и отечественную славу, в каком бы роде она ни проявлялась. Чтение с госпожой Z сменялось иногда беседами. Старушка любила рассказывать о лучших временах своей жизни, о характеристических чертах славных полководцев царствования Александра I и скромной жизни царственной четы. Не зная еще, какая высокая участь ожидала сельцо Ильинское,^[6] госпожа Z рассказывала своей любимице о посещении Ильинского государыней Елизаветой Алексеевной помнится мне еще до 20 года.

– С полудня, – говорила словоохотливая старушка, – встала пыльная полоса от Москвы к селу. Разнородные экипажи, нанятые во множестве тогдашним владельцем имения, графом

Александром Ивановичем, и собственные гости то и дело следовали один за другим и обгоняли один другого. Тут была отчасти знать московская и отчасти петербургская, приехавшая в императорской свите, все очень просто одетые. На обширном лугу, против господского дома, расставлены были качели разного устройства, палатки с деревенскими лакомствами, балаганы с народными увеселениями, стояли бочки с вином, пивом и медом. В разных местах гремели хоры музыки и песенников, полковых и цыганских. Красивые лодки с разноцветными флагами, также с песнями и музыкой, разгуливали по Москве-реке. На возвышении просеки, в сосновой роще, за лугом, против дома, была построена красивая беседка вроде греческого храма. Луг просто залит был народом. Хороводы крестьянок в нарядных платьях, большею частью любимых ярких цветов, казались цветниками из разноцветного мака. Зрелище было истинно живописное, тем более, что и красивая местность была в гармонии с ним. С утра день был прекрасный, но по приезде императрицы стал накрапывать дождик и вскоре, к досаде хозяина и хозяйки, засеял чаще, так что песчаные дорожки отсырели. Государыня несколько минут полюбовалась с террасы на оживленную пеструю картину и послала рукою поцелуй народу, который громкими, восторженными криками приветствовал ее. Дождь утих, и она изъявила желание прогуляться по саду. Ей так много расхвалили его. В сопровождении графа и графини, ею особенно любимой, она спустилась с боковой террасы в главную аллею сада. Свита хлынула за нею. Прошла она легко по всем дорожкам, любовалась особенно тою, которая проведена по овражку, посетила грот, взошла на небольшую высоту, где стояла беседка из необделанных берез, осмотрела дом, где провели свой медовый месяц *молодые* А – ины. Надо заметить тебе, флигель-адъютант Вл. Ст. А-ин женился незадолго до того на графине С-е П-вне Т-ой, племяннице графа по жене. И что это за красавица была! Не одного искателя ее руки свела с ума. Сам дядя, граф Александр Иванович, нечего греха таить, был сурового, не совсем любезного характера, но большой поклонник красоты. В великолепном доме его, что на Английской набережной, ныне графини Броглио, был портрет С-и П-вны во весь рост, писанный знаменитым художником. Случилось мне однажды видеть, как он при всех нас, приехавших к нему, стал перед ним на колени в какой-то позе обожания. Мы этому тогда очень смеялись. Но я отбилась от своего рассказа. Как заговоришь о старине, так и занесешься далеко. Словно почтовый голубь, посланный с письмом, увидав свою родную сторону, закружился над ней и забыл о своем назначении. Воротимся же в сад. Ничего особенно художественного, богатого в нем не было. Но всем восхищалась императрица, все радовало в этом садике владелицу Царского Села. Так-то, душа моя, и цари любят укрываться от блеска, великолепия и этикета, их беспрестанно осаждающих, и хоть на несколько часов спускаться в тихую, скромную долю простого смертного, которая не была им предназначена. Когда государыня возвратилась в дом, она почувствовала, что немного промочила ноги. Для переодевания ей приготовлена была туалетная, прекрасно, с большим вкусом устроенная. Здесь горничная графини скинула с нее отсыревшую обувь и хотела надеть другую, заранее приготовленную и согретую, но императрица сказала:

– Благодарю, милая, я сама надену, – и сама надела, потом ласково потрепала хорошенькую горничную ручкой своей по розовым щечкам.

– Это был настоящий ангел, – прибавила старушка, вздохнув и перекрестясь.

Тони припоминала, как она выезжала со старушкой в свет, пока та еще была в силах делать выезды, как избранный кружок, собиравшийся у нее в доме, обращался с бедною воспитанницей, словно с родной дочерью аристократической барыни. Засыпая у себя дома, ей чудилось, что сухая рука ее, исписанная синими жилками, благословляла ее на сон грядущий, и она верила, что благословение это принесет ей счастье. Помнила Тони, как заболела тяжело старушка, перемогалась недолго и просила ее перед смертью закрыть ей глаза.

– Непременно ты, чистая душа, закрой мне, – говорила она.

И закрыла Тони глаза своей благодетельницы, успокоившиеся на ней в последний раз вечным сном. Госпожа Z хотела и за гробом продолжить свои благодеяния Тони и завещала ей 15 тысяч рублей, которыми могла законно располагать, не обижая своих дальних родственников (близких она не имела). Библиотека и Эрар, с которыми Тони сроднилась, перешли к ней также по сердечному наследству. Прошел сорокоуст после смерти г-жи Z, и Тони возвратилась в свое семейство, принесла в него ту же простоту нрава, доброту души и любовь к родным, которые из него некогда вынесла и которых не могли извратить годы, проведенные в роскоши аристократического дома и в большом свете. Капиталец свой передала она старшему брату, чтобы он сделал из него употребление, какое найдет полезным для общих нужд их. Только оставила в своей шкатулке сотню заветных екатерининских и елизаветинских империалов, подаренных ей в годовые праздники и в дни рождения и ангела. Эти приберегала она на черный день. Брат, взяв порученную ему сестрою сумму, отдал ее в банк для приращения на ее имя. Чтобы не быть своим в тягость, она определила: проценты вносить в общую семейную кассу. Водворясь в родном доме, Тони не только не расстроила гармонии в мирной жизни двух братьев и своей Крошки Доррит, но внесла еще в эту гармонию новые, живые звуки, которых в ней не доставало. Разница в нынешней Тони с прежнею была единственно та, что 14-летняя девочка пышно расцвела и развилась в очаровательную 18-летнюю девушку. Жизнь в мезонине потекла, никакими невзгодами не нарушаемая. Только самый мезонин, по желанию новой жилицы, обновился и принял более комфортабельный вид, только по временам оглашался на весь квартал чудными звуками, извлекаемыми из богатого рояля, и звуками контральто из грудного инструмента, какими природа ее щедро наградила. Скоро Тони, приноровясь к религиозному настроению младшего брата и сестры, составила из своего и их голосов, с аккомпанементом рояля, маленький хор, очень стройно и от души исполнявший духовные гимны.

В это время, с водворением, ее в родном доме, бельэтаж в нем, остававшийся несколько месяцев пустым, заселился жильцами. Одно отделение, окнами на нижний Пресненский пруд, наняли Раневы, другое, поменьше, окнами на дворе, вдова коллежского советника (которого она по временам величала статским, а иногда, в жару хлестаковщины, производила в действительные), лет сорока пяти, Левкоева. Пенсия ее после мужа, не так давно умершего, был невелик, но она жила безбедно, на какие средства – это оставалось ее тайной.

У Лориных был при доме садик сажень в 15 длины и столько же в ширину. Лиза встретила Тони в этом саду. Разговорились. Обе потеряли в детстве свою мать, обе с детства перешли на чужое, но благодетельное попечение. Оказалось также из разговора их, что братья их служили в одном полку, расположенном в Радомском округе – Владимир Ранев юнкером, Иван Лорин прапорщиком. Эти случаи сблизили их. Несмотря, что натура одной была серьезная, энергическая, замкнутая, другой – веселая, мягкая, открытая, они скоро сошлись на перепутье жизни и полюбили друг дружку.

Мало-помалу невольно Тони подчинилась первенству Лизы и с удовольствием склонялась перед ним, счастливая, гордая, что такое дивное, несравненное существо избрало ее, помимо многих других, в свои друзья. Просто она была влюблена в нее, а влюбленные, как известно, не видят и малейшего недостатка в предмете своей любви.

Тони слышала от своей подруги, что она не так давно познакомилась с интересным молодым человеком, Андреем Ивановичем Сурминым, очень неглупым и очень любезным, и рассказывала при этом странную встречу его с отцом. В этом рассказе не могло быть эпизода встречи Ранеева с каким-то давним врагом – эпизода, который был скрыт и от самой Лизы. Но *диспут* о русских женщинах и особенно московках не остался в забвении. Похвалы Сурмину до того подстрекнули любопытство Тони, что она просила своего друга дать знать ей, когда он у них будет. Случай этот скоро представился; Лиза поспешила исполнить ее желание и рекомендовать обоим друг другу.

– Это мой лучший друг, мое второе я, – сказала она Сурмину.

– И мой задушевный друг, моя вторая дочка, – присоединил к этому отзыву и свой старик Ранеев.

Тони, окинув пронизательным взглядом молодого человека, присела перед ним длинным, церемониальным приседанием и с хитрой усмешкой сказала:

– А я рекомендую себя как *московская барышня*.

Сурмин тоже окинул мимолетным взглядом особу, рекомендуемую ему таким перекрестным огнем дружеских изъяснений, отвесил ей глубокий поклон и сказал, обратясь к Лизе:

– Вижу, Лизавета Михайловна, что вы меня выдали головой Антонине Павловне и хотите живыми доказательствами заставить меня горько раскаиваться в грешном отзыве моем о московских жительницах. Я так непростительно, так несправедливо судил. Узнав вас, мне и теперь перед вашим вторым *вы* ничего не остается, как повторить то же.

Первое впечатление, произведенное друг на друга новыми знакомыми, было в пользу того и другого. После нескольких свиданий с Тони у Ранеевых, Сурмин сделал об ней следующее заключение:

– Ей до Лизы, как до звезды небесной, далеко, но в ее лице, более чем хорошеньком, в голубых глазах светятся так ярко чистая, безмятежная душа и ум, в ее живом, лукаво наивном разговоре, простоте ее манер есть какой-то завлекающий интерес. Сколько могу судить по недавнему знакомству, той удел воспламенять, увлекать, волновать душу, этой – понемногу притягивать ее к себе, успокаивать, согревать, нежить. Я сравнил бы Лизу с романом Жорж Занда, другую с романом Диккенса.

Лиза, между прочим, отзывалась ему, что ее подруга немного фаталистка.

Этот отзыв повел к длинному разговору, из которого выбираю лишь сущность его.

– Да, – сказала Тони, – я по этой части большая чудачка. Например, я верю, что счастье и несчастье посылаются нам по предназначенью свыше. Конечно, если встречу с невзгодами жизни, я не останусь пассивной страдальцей, не опущу по-турецки руки. О! тогда, вооружась всеми силами моей души, всеми средствами моего умишка, я пойду против этих невзгод. Но если они одолеют, я не предамся отчаянию, а безропотно скажу: они не от меня, так мне предназначено, так Богу угодно, – и мне будет легче.

Лиза стояла за силу воли и разума, побеждающих обстоятельства.

– Не всегда, – говорила Тони. – Правда, мы сами часто виновники наших обстоятельств, но есть и такие, которые совершенно от нас не зависят. Случается, что разум и воля ведут тебя по пути, который ими начертан, а тут вдруг, Бог знает как, откуда, преградили тебе этот путь. И пойдешь ты по новой дороге, вправо или влево, и очутишься далеко от прежней, в краю, где ты и не думала быть. И пошла твоя жизнь совсем иначе, нежели ты предположила и начертала. Что ж это, как не воля Провидения, как не рука невидимая, которая привела тебя в этот край? Разум и воля тут ничего не поделают.

Сурмин подумал, как его, счастливого, со свободным сердцем кампаньяра, приехавшего в Москву по тяжбному делу, которое искусный адвокат двигал к счастливому концу и следовательно не могло его сильно заботить, как судьба повела его на Кузнецкий мост для бездельной покупки барометра и вдруг столкнула со стариком Ранеевым и его дочерью. И кто ж знает, что из этого будет, куда поведет его эта ничтожная покупка! Сведя все это в уме своем, он не мог отчасти не подчиниться убеждениям Тони. Не надо забывать, что разговор о фатализме происходил до получения Лизой рокового письма от Владислава Стабровского и до встречи ее с разными тяжкими обстоятельствами, с которыми должна была бороться. И боролась она энергически со своим сердцем, с судьбой своей: то изнемогала под ударами ее, то брала над нею верх. Но выйдет ли она из этой борьбы победительницей или судьба ее одолеет, ее или Тони оправдает жизнь, – мы увидим впоследствии.

Новое знакомство с Тони повеяло, однако ж, на сердце Сурмина освежающим, отрадным чувством.

Как-то по выходе его от Танеевых, обе подруги, оставшись одни в Лизиной комнате, долго еще говорили о нем.

– Какой он душка, – сказала Тони. – Вот бы завидная парочка была ты с ним.

– Нет, – отвечала Лиза, – я не могла бы сделать его счастье.

– Почему ж так?

– Мой характер слишком восторженный, – как бы тебе еще сказать, – слишком порывистый, мечтательный, а это для полной гармонии в жизни мужа и жены, для счастья их не годится. Вот ты бы дело другое, вы как будто созданы один для другого.

– Пожалуй бы созданы – как две половинки одной груши!.. Близки друг к другу, да не сходимся. Кабы можно было об этом справиться в книге судеб. Шутки в сторону, поставь меня с тобою рядом перед ним, как мы теперь стоим, да сравни он твою олимпийскую красоту...

– Уж олимпийскую!

– Пожалуйста, не очень скромничай. Да как он сравнит ее с моим личиком chiffonné,¹³ так меня сейчас из ряду корифеек в задние ряды кордебалета.

– В тебе есть что-то, чего во мне недостает – живость, игра безмятежной, чистой души, нега в глазах. На тебя любоваться можно, как на прекрасный цветок, только что распустившийся, еще не тронутый июльским зноем, не помятый бурей.

Тони взглянула в зеркало, смешно взбила свои кудри, томно повела глазами и захохотала своим звонким, детским хохотом.

– В самом деле, миленькая, – сказала она, – хоть сейчас за конторку в магазин мод. А твою красоту, чай, иссушил сердечный зной, старушка!

– Хоть не старушка, но мне все-таки не надо выходить замуж.

– Оставаться девой, да еще перезрелой, должно быть очень обидно, очень грустно – уж если не Орлеанской, на которую ты что-то трогательно смотришь, так московской.

В самом деле, Лиза смотрела с каким-то особенным участием на картину, висевшую на стене, с изображением Девы Орлеанской в ту самую минуту, когда она со знаменем в руке, торжествуя победу над врагами Франции, опускает свои взоры с небесной выси на землю и встречается ими с глазами молодого рыцаря, простирающего к ней с любовью руки.

– Завидная участь! – сказала Лиза, указывая на картинку.

– И она была несчастна, и над нею надругался народ, которого цепи она разбила. И король, обязанный ей сохранением своей короны, как отплатил ей!

– Что ж, что была несчастна! Она совершила великий подвиг, и в ту минуту, когда узнала, что исполнила данный Пресвятой Деве обет, когда сердце ее трепетало в восторге победы, минута эта была для нее целою жизнью высочайшего блаженства.

– А были и минуты, когда в сердце ее зажглась искра земной любви, и героиня, святая, стала обыкновенной женщиной.

– И пала она, и оставили ее небесные силы!

– Мы живем не в том веке, когда могли родиться Жанны д'Арк, а во времена более положительные. Удел наш не геройствовать, как она, не гоняться за подвигами, а быть доброю дочерью, женою, матерью: это лучшее назначение наше. Доброю, примерною дочерью ты и теперь; я уверена, что сделаешь счастье человека, которого полюбишь, будешь и прекрасной матерью.

– То-то и есть, что мне трудно полюбить кого по своему идеалу.

Тони погрозила ей пальцем, прищурясь одним глазом.

Берегись, скрытная душа!

«Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись в него – ужасный

¹³ chiffonné – помятый, некрасивый (фр.)

Крокодил на дне лежит».

Стихи эти она сказала с патетической интонацией и мимикой.

– Смотри, я подозреваю, что ты равнодушна к своему кузену Владиславу.

– Какие вздоры! На этот счет можешь быть покойна; я ограждена от этих крокодилов оружиями, которые заколдованы не хуже Жанны д'Арк.

– Помоги тебе Бог! С искусительной красотой лермонтовского демона, он мне кажется опаснее нильского амфибия. Мне чудится, женщина, которая его полюбит, будет несчастна.

– Пожалее ее, – сказала Лиза довольно равнодушно и попросила Тони сыграть ей какой-нибудь *posturne* на угольнике, стоявшем близ нее.

Сыграла Тони одну пьесу, сыграла другую, сделалось темно в комнате, и не видала она, как плакала Лиза, закрыв глаза рукою.

VI

Было 5 сентября, именно тот день, когда заговорщики собирались в квартире Владислава Стабровского. Все они, как мы уже сказали, разошлись к шестому часу вечера по домам. Он вспомнил, что ныне день ангела Лизы, и еще под влиянием выпитого в изобилии вина и разнообразных чувств, бушевавших в его груди, вздумал идти к Ранеевым с поздравлением и, кстати, проститься с ними навсегда.

«Он будет верно там, увижу его, спугну веселье жениха и невесты, побешу ее, побешу старика. Кстати, есть богатая тема – Польша. Брошу им в глаза накипевшую в груди желчь, потешусь хотя этим мщением. Завтра разделят нас сотни верст, а там целая вечность!»

Приведя немного в порядок свой туалет, он направил шаги к заветному дому на Пресне, где некогда считал себя таким счастливым.

Пока он идет к этому дому, мы будем иметь время заглянуть в небольшой кружок, человек из семи, считая и семейных, собравшийся у Ранеевых в саду около большого круглого стола.

Здесь были Сурмин, Тони, вдова Левкоева, соседка по квартире Ранеевых, сынок ее, только что на днях испеченный корнет, и маленький, худенький студент – юрист Лидин, которого привела с собою Тони. Он хаживал к Крошке Доррит то посоветоваться с ней, то посоветовать ей по какому-нибудь запутанному делу, то позаимствовать у нее «томик» свода законов. Двух братьев Лориных и Даши тут не было, потому что они избегали всякого светского общества. Остальных членов семейства Ранеевы не знали даже в лицо.

День был прекрасный, какими редко балует нас в это время наша скупая природа. Лиза, во всем сиянии своей красоты, без всяких украшений, кроме одинокого цветка на голове и другого у груди, сидела под древним кленом близ незатейливой беседки, которую Тони и студент убрали гирляндами и разноцветными фонариками. Осень успела уже порядочно обшипать листья с деревьев, да и те, которые держались еще на ветках своими больными стеблями, уступали слабой струе ветерка и, кружась, падали на землю. Зато, назло ей, в клумбах красовались в полноте жизни пышные букеты левкоев и кусты далий.

Подле Лизы с одной стороны сидела Левкоева, полная дама, раскрасневшаяся от избытка здоровья и жаркого многоглаголанья. Движения ее были энергические, речь бойкая, иногда резкая. По временам пересыпала она ее остроумными анекдотами, от которых вспыхивал всеобщий смех, или цитатою стихов любимых русских поэтов. Память у нее была неиссякаемый родник. Читала она стихи мастерски, соединяя с простотою чтения, где нужно было, и умение модулировать свой голос и выставлять в ярком свете красоты поэтического произведения. Чего и кого не знала она в Москве! Это была хроникер самых интересных вестей и портретист, правда, в карикатурном жанре, но этот жанр и нравится людям, которые любят погулять насчет ближнего. А много ли таких, которые не любят? И дали ей по качествам кличку: «бой-баба, душа компании». Эта пчелка несла кому мед, кому яд, но и в последнем случае, приятно пожужжав около особы, которую хотела укусить. Завистлива она была до того, что завидовала иногда лишнему блюду на скромном столе Ранеевых; она, кажется, посмотрела бы с завистью на серебряную монету подле медного гроша в руке нищего. Михаила Аполлоныч сначала полюбил ее как приятную собеседницу, но скоро, прозрев, что сквозь все поры ее душонки выступали нечистые страстишки, сказал дочери:

– Эта бой-баба *не по мне*.

Отделаться, однако ж, от нее было нелегко: играя переливками своей золотистой кожи, смотря на вас своими мягкими глазками, эта змейка тихо, вкрадчиво приползала к груди вашей и согревала себе на ней теплое местечко.

Стали говорить о Польше, о поляках – тогдашний обильный клад для бесед, да и ныне, кажется, неистощенный, потому что новые подземные ключи беспрестанно его питают и выбиваются наружу.

Полетела стрелка за стрелкой из колчана злословия Левкоевой, всегда туго ими набитого, полетела одна по какому-то особо тонкому или злому расчету и «в женоподобного» Адониса, Владислава Стабровского, который не налюбуется своею красотой. «Этот не пойдет в жонд не из преданности к России, а из боязни, чтобы сабля не изуродовала его хорошенького личика».

Ранеев поморщился, но не сказал ни слова. Ему неприятно было слышать отзыв о родственнике, тем более, что находился не в мирных с ним отношениях.

Тони, сидевшая возле Левкоевой, неожиданно взялась защищать отсутствующего.

– Неправда, – гневно сказала она, – сколько знаю Стабровского, я никогда не замечала, чтоб он был занят собой. Что ж до его красоты, то никто, конечно, кроме вас не найдет в ней ничего женоподобного. Скорее, к его энергической, одушевленной физиономии шли бы латы, каска с конским хвостом, чем одежда мирного гражданина. Воображаю, как он хорош бы был на коне, с палахом в руке, впереди эскадрона латников, когда они несутся на неприятеля, когда от топота лошадей ходит земля и стонет воздух от звука оружий.

Тони говорила с особенным одушевлением.

– Уж не затронул ли он... – начала было Левкоева.

– Моего сердца, – спешила твердым голосом перебить ее Тони, – ошибаетесь! Нет, но затронула меня ваша несправедливая речь.

– Браво, браво! – закричал Ранеев, хлопая в ладоши, потом схватил руку ее и поцеловал.

Сурмин с изумлением и невольным восторгом посмотрел на Тони, которую он не видал никогда так поэтически увлекательной. Лиза улыбнулась, – ее подруга говорила красноречием ее сердца, говорила то, что бы она сказала, если бы только *могла*.

– Молодец – барышня, – воскликнула Левкоева, бросаясь целовать свою победительницу. – *Montrez-moi mon vainqueur et je cours l'embrasser*.¹⁴

– Да где ж она набралась такого батального духа, словно жила между военными, – не пропустила кольнуть ее бой-баба.

– На красносельских маневрах, – спокойно отвечала Тони.

– Полноте, кумушка, Аграфена Федотовна, – сказал Ранеев, – чесать язычок насчет ближнего. Ведь это все равно, что звуки бубенчиков, которые давно шумят у меня в ушах; много звону, да неприятно слушать. Извините, ведь мы большие приятели, да и родня по кумовству, а друзьям можно говорить и резкую правду.

– Давно и я говорю: ангельская душа Михайла Аполлоныч одною ногою держится на земле, а другую занес прямо в рай. Правда, многоуважаемый друг, язык мой – враг мой. Поверьте, грехи мои от него, а не от сердца. Я сама *добрая душа*, как Бог свят.

Тут Левкоева вздохнула, поведя глазами к небу.

– Ссылаюсь на вас, *mesdames*.

Лиза и Тони кивнули ей в знак согласия.

– Петруша, вели-ка отъехать своему экипажу подальше, а то в самом деле глухари прожужжали нам уши.

Петруша, к которому обращалась речь Левкоевой, был сынок ее, недавно выпущенный в офицеры. Он стоял недалеко на дорожке, пощипывая усики, только что пробившиеся, и не тронулся с места, занятый горячим разговором с маленьким студентом, – не слышал ли слов матери, или слышал, но пропустил мимо ушей.

¹⁴ *Montrez-moi mon vainqueur et je cours l'embrasser*. – Покажите мне моего победителя, и я поспешу его обнять. (*фр.*)

– О! он у меня большой философ, – сказала озадаченная Левкоева, – заговорит о каком-нибудь современном вопросе, глух ко всему постороннему; для философии и литературы пренебрег в училище и математикой.

– Философия нынешнего времени, – заметил Ранеев, – увлекаясь своим критическим настроением, учит, конечно, вашего сына не уважать голоса матери. Да позвольте вас спросить, из какого богатства он так кутит, нанимает четверки в лихой упряжи. Кажется, у вас самих средства не очень крупные, как вы сами говорите.

– Я ни копейки не дала ему на эту блажную потеху; князь Поддубравский захотел побаловать моего офицера и нанял ему на нынешний день четверку от Ечкина. Кто молод не бывал!

Она лгала.

– Кстати, – продолжала Левкоева, желая замять разговор о сыне, – я заехала с ним по поручению одной графини узнать положение семейства вдовы бедного чиновника – недавно умер чахоткой от усиленной канцелярской работы. Вообразите, нахожу больную женщину, еще молодую, с шестерыми детьми (двух или трех она для большого эффекта прибавила). И где ж? На пустыре, заросшем по грудь крапивой и репейником. Вблизи пруд, подернутый зеленоватою корой, от которого несет нестерпимо гнилью. Жилище их – шалаш, кое-как сколоченный из досочек, постель – гнилая солома, которую мочит дождь сквозь щели бивуачной крыши и парит полуденный зной. В этой конуре, на этой постели лежали не собачонки, а творения с образом Божиим. Иссохшую грудь матери, изнуренной болезнью, горем, лишениями всякого рода, тербил, кусал младенец, чтобы выжать из нее хоть каплю молока. Кругом другие дети кричали: «Хлеба, хлеба, жадная мама!» И глаза их исступленно блуждали по углам шалаша, как будто шарили ими, не найдется ли где кусок хлеба.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

В Витебской губернии в 1852 году считалось, так сказать, привилегированных панцирных бояр:

2.

Не знаю, правильно ли я пишу его имя; в статье «Неделя беспорядков в Могилевской губернии», напечатанной в «Русском вестнике» 1864 г., оно не означено.

3.

Смотри статью: «Неделя беспорядков в Могилевской губернии», напечатанную в «Русском вестнике» 1864 года.

4.

Не только у крестьян белорусских случается это болезненное состояние, но и у панов тамошних.

5.

Смотри статью: «Неделя беспорядков в Могилевской губернии», напечатанную в «Русском вестнике» 1864 года.

6.

Оно принадлежало сперва канцлеру графу Ивану Андреевичу Остерману, сподвижнику мудрой Екатерины, потом перешло по наследству к графу Остерману-Толстому, герою кульмскому, а от него к князю Леон. М. Голицыну, от вдовы которого куплено государем императором.